



АЛАН  
ЧЕРЧЕСОВ

РОМАН

РЕКВИЕМ

ПО ЖИВУЩЕМУ

Алан Черчесов

**Реквием по живущему. Роман**

«Издательские решения»

**Черчесов А.**

Реквием по живущему. Роман / А. Черчесов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-937737-1

«Реквием по живущему» — первая часть осетинской дилогии Алана Черчесова. Выдержавший несколько изданий и переведенный на английский, немецкий и арабский языки дебютный роман известного автора давно снискал заслуженное признание и по-прежнему остается одной из любимых книг для тысяч читателей в нашей стране.

ISBN 978-5-44-937737-1

© Черчесов А.  
© Издательские решения

# Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

44

# Реквием по живущему

## Роман

**Алан Черчесов**

*Светлой памяти моего деда посвящаю*

*Может, времени как такового не существует вовсе, а есть только бесконечная паутина бесконечных историй, рисующих узоры в оглушительной Бесконечности? Может, Время – это лишь способ их пересказывать и слушать? Может, не истории вырастают из Времени, а оно само вырастает из них?..*

Художник Ахсар Есенов

© Алан Черчесов, 2018

ISBN 978-5-4493-7737-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Ну, конечно же, помню. Как же иначе! Мне уж пятнадцать было, когда он ушел, а вся история, с ним связанная, давно в памяти отстоялась да сгладилась, как масло в кадке или как дупло во рту после выдранного зуба. Зуб только ценить и начинаешь, когда его лишишься, тогда только и задумаешься, зачем он был нужен, язык еще сам норовит дырку ощупать, словно не верит в пропажу и все сомневается, все проверяет, не померещилось ли, и до тех пор так, пока не устанет и не пообвыкнется. Да глаза потом сколько дней любому человеку первым делом в рот глядят, а уже после все остальное примечать начинают. Верно говорю? То-то же. Так у всех людей. У всех – коли эти все нормальные да обычные. Нет, конечно, у всякого странности бывают, только странности на то и странности, чтоб за обычным следовать. А когда его, это обычное, на версту опережают – какие уж там странности! То натура уже, а не придаток к ней.

К тому и веду, что обычным он не был. А если и был, так, может, первые десять лет или самую малость подольше. Отец его с матерью под сель угодили вместе с братом отцовым, что жив остался, да голос потерял, а с голосом – и рассудок, весь, до последней капли. Говорят, у него со страху и ноги отнялись, только я уж точно не знаю и не помню, потому как сам лет на двадцать позже родился. Но коли говорят, значит было что-то такое с этим отцовым братом, его, Одинокого, дядей, стало быть. По крайней мере, когда они всей семьей из аула бежали, дядю этого постромками к буйволу привязали, спиной к спине, будто тот и сидеть уж не мог от собственного веса. Толстый, говорят, был, как кабан-трехлеток, ел и ел все время, будто заместо голоса и рассудка боги его двумя желудками одарили в придачу к тому, что был изначально и работал не хуже любого другого, а наверно, и лучше даже, потому как, говорят, и с тремя желудками столько жиру набрать не под силу. Так что тушу его они приладили к буйволу горбу, афсин<sup>1</sup> с невестками и детворой усадили в бричку, а старик и два других сына отправились на конях, трех из пяти похищенных, лучших во всем ущелье. И, говорят, когда бежали, никто им даже слова не сказал, чтоб не грешить против своих языков и ушей, только вслед им глядели до самого поворота, благо что рассвет позволял. А потом разошлись

---

<sup>1</sup> Афсин – старшая в доме (осет.)

по домам и стали ждать. И через несколько часов дождались и встретили в их дворе десять всадников, пять из которых были братьями и за одну ночь не только лишились своих коней, но еще и прошагали пешие полтора десятка верст, а потом не меньше того проскакали верхом на одолженных кобылах. И вот тогда, я думаю, глядя на них и прочитав в глазах обреченность, тем, другим, беглецам, позавидовали все. Честные нередко завидуют вора, особенно таким удачливым, хотя и не сознаются в том, подменяя зависть презрением. Только презрение с завистью – все одно как мясо с солью, самое обычное дело. Так что когда те сказали, что за перевалом у них уже и без того есть кровники, беглецам позавидовали все, ибо воры они были удачливые. И пусть, как говорил мне дед, они дом да землю бросили – для настоящей жертвы этого мало. Для настоящей жертвы, говорил он, потеря нужна, а они ее на коней обменяли, еще и лучших в ущелье. Да и земли той было столько, что бурку уронишь – весь участок под ней спрячется. Так что потери не было, а если и была – в дороге ее запах выветрился. Ветер вора всегда в спину дует.

Вот что дед говорил. И значит, воры они были удачливые. Это уж я сам для себя вычислил.

И, выходит, возненавидели их, воров, пуще прежнего, утрешнего, и ненависть та была похлеще молчания, которым их провожали, однако все ж таки не сильнее той, что глядела на наших с чужих кобыл, одуревшая от стольких верст впустую и вдобавок освидетельствованная ими, нашими, в своей обреченности. И посему эта вот вторая ненависть, молчавшая с одолженных кобыл, была куда опасней собственной, гасимой завистью и подогреваемой желанием ее скрыть, не заметить, отторгнуть – зависть то есть, – отречься от нее, а заодно и от всей этой истории, родившейся и удавшейся на той самой земле, где никто из наших никогда до того не крал и даже не мыслил, что кому-то это может удаться да еще так здорово, по-настоящему, безнаказанно и ловко. И чтобы пресечь ее, эту опасность, а по большому счету – то свою зависть и признание в ней, – нужен был шаг, поступок, слово, что-нибудь, что выглядело бы по меньшей мере если не полезным, так безвредным, не благородным – так хоть не трусливым, но главное – было бы шагом. Тогда-то старик Ханджери и позвал их в свой дом, отгородившись обычаем от той опасности и превратив десять обозленных мужчин сперва в десять уставших путников, а потом уж и в десять присмиривших гостей.

Тогда-то всему бы и кончиться – не для тех, конечно, не для чужаков, – для наших, закончиться для аула, уже откупившегося, потому как Ханджери сразу сказал им, тем десятным, про землю и дом, что, мол, теперь они по праву принадлежат гостям, а вовсе не аулу и уж тем паче не прежним хозяевам, что, мол, пусть мы землей и не богаты, зато чтим законы и справедливость, что у тех, у воров, даже родни тут нет, так что никто здесь за них не в ответе, кроме разве их собственных стен и надела, что Всевышний покарает отступников и что человеку дано уповать на небеса – в общем, сказал все то, чего мог бы и не говорить, что было и так ясно с самого рассвета, а теперь уж спускались сумерки. А что будет после, мог бы рассказать любой: от дряхлого старика до младенца, если только боги не лишили первого памяти, а второго снабдили речью, о том мог бы рассказать и я, хоть родился на пятнадцать лет позже, если только я сын своего отца и внук своего деда, если только во мне течет половина крови одного и четверть крови другого, а предсказать чтобы – там хватило б и капли ее. Так что теперь они должны были бы подняться и уйти, отклонив приглашение переночевать и поблагодарив за стол и пищу. И они бы снова сели на одолженных кобыл – пять из них – и проделали бы еще раз путь в пятнадцать верст к своему дому, дабы вернуться опять сюда уже засветло, с инструментами и арбой, чтобы грузить туда плитняк с чужого хадзара, подменяя работой несложившуюся месть и отвлекая от беды собственные руки. Так должно было быть, и все думали, так оно и будет. И они, те десять, уже готовы были подняться и уйти, и уже успели отклонить приглашение остаться, и уже сказали последний тост, и даже опустошили рога, но тут-то оно и случилось.

Нет, я не хочу сказать, что о его сиротстве кто-то забыл или не помнил. Помнили как раз всегда, а потому, наверно, и не вспоминали с тех самых пор, как обоз со всей семьей скрылся в молчании за поворотом. Но теперь-то вмиг вспомнили, едва увидели его посреди двора Ханджери с заломленными за спину руками, в дорожной пыли, ростом чуть выше собственной тени на стоптанной земле. И страх в глазах был куда больше и этой тени, и этого роста, и сукровицы в небе от подраненного горами солнца. И когда вспомнили, им уже не нужно было объяснять, где его нашли и почему он вернулся. Где ж еще могли его найти, как не у надгробий из каменных плит, и зачем еще он мог вернуться, как не за этим самым? Так что причина стала ясна почти тут же. Было только не очень ясно, где он спрятал коня. Но и с этим скоро выяснили, хотя он, мальчишка, говорят, так и не сознался, упорствуя в своем воровстве и ошалев со страху. И когда сын Ханджери отыскал коня в сумерках за поворотом и привел его, оседланного, во двор, и передал уздечку старшему из тех десяти, и тот сел на него, на коня, дважды за неполные сутки похищенного, но так, по сути, и не угнанного, мальчишку привязали к одной из кобыл, теперь свободной, и повезли туда, где поклялись через три дня прикончить, коли к первому, тому, что под хозяином, не прибавятся еще четыре, как оно и; было с самого начала. Только Ханджери им прямо тогда и сказал, что тому не бывать, что воры, мол, в капкан не попадают и все такое, что тот, мол, сирота, несмышлениш и сын достойного отца, и чуть ли не младше собственных лет и лишь умнее собственного разума, и в конце концов, пусть не желая, но вернул хотя бы одного из пяти, и потому надо бы отпустить. А старший из тех не согласился и тоже прикрылся обычаем, как сам Ханджери пару часов назад, только, конечно, это был уже другой обычай, известно какой. Похоже, обычаи в таких делах лишь на то и существуют, чтобы ими прикрываться, все равно как бушлатом от ветра, прикрыться – да голос изнутри подавать. В общем, мальчишку наши не отстояли. И, конечно, мало кто верил в то, что его убьют или, как положено, хотя бы надрезут ему ухо. И, видимо, большинство склонялось к мысли, что быть ему холуем или батраком. И уж, конечно, все поголовно были уверены, что там, у них, он и останется – так ведь должно было произойти при любом раскладе. А потому, стало быть, на том истории бы и кончиться – для нашего аула и для тех, других, тоже. Но только я уже говорил, что обычным он не был. Тут, пожалуй, обычное в нем и сносилось, будто дряхлая одежда. Или, как время, состарилось. Так ведь оно бывает: живешь да дышишь, а потом вдруг внезапно почувешь, что только что ушло оно, отодвинулось, оторвало тебя от себя самого и даже дало словно со стороны взглянуть, пусть ты того и не желал, но вот уже смотришь сбоку на себя бывшего и ничего с этим поделать не можешь. Время устало и сносилось, отойдя добровольно в прошлое, а на смену новое подступило и обнюхивает тебя сослепу жадными ноздрями. Ведь так оно бывает – что для каждого, что для всех, – разве что редко когда для всех и каждого.

Только через три дня именно так оно и произошло – со временем: всех и каждого задело, потому как через три дня он вернулся – с ножом вместо кинжала да маленькой корзинкой с едой – и поселился в пустом хадзаре, куда теперь и кошки не заглядывали. Тот, старший из десяти, сам его привез на той арбе, что славно потрудилась, отбирая у хадзара день за днем надстройку и плитняк. Выходит, он, старший, тоже не особо верил в чудо, скорее, раньше других увидел отслоившееся прошлое и за трое суток свыкся с ним или по крайней мере столкнулся с тем новым, что пришло взамен. А потом кто-то из них – мальчишка или он, старший, – решил им поделиться и запрячь в арбу мула и, уж не знаю, в какой раз проделать расстояние в уйму верст для того лишь, чтобы покончить со всем этим, а значит, начать с него другое. Так что для аула кончилось совсем не так, как думали и ждали, и совсем не с того началось, на что рассчитывали теперь наши, наблюдая молча, как мальчишка кивает им, а затем не спеша входит в пустой двор и оттуда – в пустой хадзар, уже несвежий, sprыснутый сыростью и так же к тому не готовый, как и сам аул, изумленный и тщетно цепляющийся за скользкий кусок отколовшегося времени. А потом, и часу не прошло, все глазели на то, как он, маль-

чишка, выходит со двора, поворачивает и идет к соседнему, к нашему то есть, зовет моего деда и говорит тому про ружье без свинца и пороху и урожай, а дед сперва только смотрит, ничего не говорит, а потом, конечно, не удерживается и спрашивает, для чего, мол, а тот, чуть выше собственной тени на дедовых сапогах, хмурится и злится, и грозит предложить кому другому, кто поговорчивей, и дед уже почти не колеблется, прикидывает – сам про то часто повторял, – сколько будет шесть седьмых с урожая, пусть не собранного еще, но во всяком случае уже сейчас больше, чем старое ружье без пороху, и даже больше стыда за неравную сделку, и идет в дом, и выносит, а тот толком и держать-то его не умеет, но забирает и гордо шагает обратно, ни разу не повернув головы и не отвечая на взгляды. А на следующее утро, чуть ли не с рассветом, снова останавливается у наших ворот и снова кличет деда, чтобы сказать, что ошибся. Восьмая часть, говорит, мне нужна только восьмая, а не седьмая с каждого обмолота, но зато теперь будут еще карц<sup>2</sup> и циновки. И дед опять идет в дом и опять выносит, и тот берет их, особо и не разглядывая, и исчезает за сырыми стенами. Потому как, говорит, дыма они не видели. Шесть дней дыма не было, и два дня из шести он оставлял на пороге нетронутой миску с едой, и потом тоже оставил, только уже к вечеру и – пустую. И, говорят, в глазах его не было ни злобы, ни тепла. Уже тогда его называли Одиноким, да так оно и привилось, отгеснив имя, о котором и прежде-то мало кто помнил: разве упомнишь имя всякого мальчишки? А когда обычное кончается, тут уж и имя не больно-то нужно, имена рассчитаны на других, на нормальных. Но через шесть дней он заставил их понять, что и этого мало. И тогда они придумали еще: Мужчина-мальчик. Потому как через шесть дней он появился на улице с подвязанным к пояску ножом и двинулся вверх по аулу. Он подошел прямо к ныхасу<sup>3</sup>, но остановился, лишь когда приблизился к ним вплотную. А они, наши, еще ничего не поняли, потому, говорят, ему пришлось трижды их поприветствовать да потом еще сказать про огонь в ожившем очаге (дыма над его хадзаром они поначалу и не заметили, а когда наконец увидели да осознали, поднялись с ныхаса – старейшие старики аула – и приняли, и указали место на почетной скамье, и он сел, и уж после – вот еще штука! – только после него сели остальные. И, говорят, никто из них не рассмеялся, потому, мол, что глаза им его не позволили, и уж не знаю, смеялся ли кто потом).

Тогда оно и родилось – Мужчина-мальчик. И тогда же им, нашим, надо было вычислять да додумывать. И как-то разом вычислилось, что понадобилось ему сперва осиротеть, а затем переждать с полгода, пока двоюродный дед и дяди не сделаются конокрадами и не обзаведутся резвейшим из богатств, чтобы потом оседлать его, это богатство, и оседлать удачу, и бежать с ними за перевал – туда, где у преследователей и без того уже будут кровники; и вычислилось тоже, что еще ему, мальчишке, понадобилось красть самому (одного из пяти) и скакать на нем к брошенным могилам, чтобы пойматься там и затем три дня ожидать смерти; а после ему понадобилось вернуться и обменять чуть не весь урожай со своей земли на незаряженное ружье, карц да несколько циновок. И теперь уже оставалось шесть дней, которые никак не вычислялись, и посему их надо было додумывать.

И старики додумывали про ружье и огонь в очаге, ибо просто спросить никто из них не решался, да они и не могли, ведь каждый из них лет на пятьдесят был старше и в столько же раз опытней. Он-то им и мешал – опыт, потому как происшедшее в него не вмещалось. Но новое имя – то самое, Мужчина-мальчик, – уже родилось, уже прозвучало. И тогда кто-то из них – может, Ханджери, может, дед мой, а может, кто другой – сообразил, что можно спойно его поделить надвое и на время забыть про мальчишка, чтобы додумывать теперь как бы за мужчину, тем более что он – мальчик, мужчина, загадка, – каждый день исправно вступал

<sup>2</sup> Карц – овчинный полушубок (*осет.*)

<sup>3</sup> Ныхас – букв. «беседа». Место собрания, где старейшинами родов аула обсуждались текущие события и дела и принимались важнейшие решения (*осет.*)

на ныхас и садился на скамью с ними рядом и сидел с таким видом, что никому и в голову не приходило смеяться, шутить или возражать. Да. Так вот. Садился на правах хозяина не хадзара и не участка земли, но целого дома, целой фамилии, единственным представителем которой теперь являлся, но шесть дней до того все же чего-то ждал, что-то делал, прежде чем зажечь огонь в очаге, подвязать заместо кинжала нож к пояску и взойти сюда, на ныхас. И тогда вспомнилось про могилы и додумалось про ружье, а чтобы проверить, послали к Синею тропе, и когда проверили, оно, додуманное, подтвердилось, потому что следы действительно были, а травы ощипано ровно столько, что хватило бы коню – любому, даже лучшему в ущелье – на целую ночь. А как додумалось и подтвердилось, оставалось лишь все другое к нему приладить, а это уж было проще простого. И теперь уже вычислялось, что ему понадобилось не только осиротеть, не только бежать с ворами и не только украсть самому, а потом не только быть приговоренным к мести, не только ее избежать, не только вернуться. Ему понадобилось еще ждать шесть ночей на темном кладбище с незаряженным ружьем, когда кто-то из них, воров, придет за ним и поверит в то, что ружье заряжено, и не сможет уговорить, и уйдет уже навсегда, ни с чем, крадучись, на рассвете, проиграв и смирившись. И лишь теперь он – мальчишка, мужчина, тайна – узаконит свое одиночество и на правах хозяина зажжет огонь в угасшем очаге, и нацепит на пояс нож вместо кинжала, и заставит стариков увидеть дым, признать этот дым и подняться себе навстречу. А заодно вычислилось, что восьмая часть с урожая – не последняя сделка, им заключенная, и, следовательно, не последний куш, что может сорвать мой дед. И выходило, что в свои десять – или сколько там – лет, пусть лет уже больше мужских, чем детских, он обзавелся хозяйством, куда как солидным, одним-единственным единоличным и единоуправным хозяйством во всем ауле, будто кража была ему только на руку, будто одиночество лишь помогло. И выходило также, что одна восьмая – гораздо больше того, что намечалось для него изначально и лишь неделю назад никем еще не вычислялось, а теперь вот вычислилось само собой: старик, двое здоровых мужчин и еще один, больной, их брат (запеленатое в черкеску сало, человек-утроба с прожорливостью кабана-трехлетка), да их дети, да жены, не считая афсин и тех, кто еще не родился. И выходило, что семья наша, выиграв много, но куда меньше его самого, к тому же еще и проиграла.

– Он нанял нас, – говорил мне дед, устало глядя на соседскую ограду, и солнце тихо грело его сухие плечи и застывало вязким в глазах. – Облагодетельствовал, но и нанял. Он кинул милостыню и потребовал за нее кормить свое одиночество. Он сделал из нас батраков.

Ибо по уговору так и получалось: часть его с каждого обмолота доставлялась ему прямо в амбар, и все, что от него требовалось – это открывать амбарные двери. Так что на ныхасе он просиживал дольше кого другого, даже в самую что ни на есть страду и самую что ни на есть работу, будто самый что ни на есть богач из богачей или лентяй из лентяев. Но лентяем он тоже не был. Это наши уже потом поняли, когда увидели, к чему он себя готовил. Но это позже было. Ведь ушел он через тридцать лет. И к тому времени обзавелся не только конем и овцами, не только отличной утварью и арбой, но и собственной зрелостью, ни на что не похожей, не растрапив при этом ни капли своего одиночества, которое его всем этим снабдило.

Да, одиночество сделало его тем, чем он был, противопоставив всем нам и лишив любви кого бы то ни было. И сделало его чужаком на земле, где он родился и вырос, и прожил сорок лет, по-настоящему отлучившись лишь однажды за собственной смертью на какие-то трое суток и вернувшись сюда сразу же, едва ее избежал. Только готовило оно все же его к другому, а подготовив, отправило в путь. Конечно, я помню, как он ушел. И помню, как все это готовилось...

Ведь он опять всех обманул, и прежде других – моего деда, потому как не только он, дед, но и все остальные ждали нового куша, что нам перепадет, и думали, что уже скоро, ибо, по сути, кроме пустого хадзара да кусочка земли у него не было ничего, разве что ружье без патронов и карц на зиму. А этого даже в десять лет маловато. И, конечно, дед мой был нетер-

пеливее всех, мучаясь бременем, как роженица на сносях. И кое-что даже придумал, чтоб подстегнуть, заставить его. И самолично отправился в крепость с дюжиной турьих шкур, а после вернулся, но уже без этой дюжины, и целую неделю держался, никому ничего не говорил. А как терпение лопнуло, позвал моего отца в дом и вытащил из-под нар тонкий сверток, и отец сразу понял и задрожал от обиды, потому как почуял недоброе и словно бы даже почувствовал (сам в том уверял), что не пройдет, что только осрамятся. И дед развернул, достал и протянул отцу, и отец говорил мне, что лучше никогда не видел – и после тоже, хоть видел красивее, но лучше – нет, не встречал никогда (а я так думаю, что встречал, да вот в руках не держал) – и что, стало быть, дед прихватил что-то еще, кроме тех шкур, и это что-то целиком пошло на выделку и теперь сверкало белым на все помещение, так что у отца защипало в глазах, и обиды скопилось столько, что засвербило в горле. И дед велел ему снять старый, и он снял, а потом подвезал новый, и дед сказал:

– Походи с ним покамест. Пусть он увидит. Ведь у него еще нет кинжала.

И отец кивнул и ушел, и когда двигался по улице в сторону ныхаса, думал все (сам говорил) про то, что не вынесет, и как бы одновременно про то, что, конечно же, вынесет, и про то, что это вот самое худшее. И думал он (это уж я так домыслил), что теперь тоже отравлен, все равно как дед, и что от заразы этой не то что им – всему аулу не излечиться. А может, думал о том – приказал себе думать, – что оно выгорит, что получится и что старик оказался проворнее своих сынов.

И, говорил мне отец, пришлось прошагать туда и обратно мимо ныхаса раз семь, а на ныхасе сидел только он и бросал короткую тень, и все смотрел на отца, нахмутив брови и не сказав ни слова, а пот с отца катил градом и будто даже в сапогах хлюпало по щиколотку, но тот все смотрел и молчал, словно перед ним больную лошадь выезжали, и отец говорил, что будь он проклят, если не был тогда больной лошадей, старой вдобавок, как вся наша фамилия и все фамилии лошадей, вместе взятых. И, говорил отец, мальчик в нем не то что не всполошился, но даже и вовсе не просыпался, пока он глядел, как перед ним выезжают лошадь, обузданную простым сыромятным ремешком и навьюченную серебряной рукоятью и ножнами. Так что ни черта не выгорело, ничего не получилось, и старику пришлось ломать голову снова. И тогда, говорил мне отец, дед твой вспомнил про ишака. И заставил нас драить и скрести, все равно как княжеского иноходца. Разве что маслом не натирали и зубы не чистили. А потом каждый из нас, говорил отец, каждый из братьев, садился по очереди верхом и трижды в день отправлялся поить к дальней излучине, лишь бы только мимо его хадзара проехать и мимо ныхаса, где он мог сидеть. Да куда там ишаку, если он даже на лошадь не стал будить в себе мальчишку, говорил отец. Куда там ишаку, когда он полпуда серебра не заметил!

И вот теперь настал черед овец, и нужно было спешить, потому что урожай уже почти весь собрали, а значит, приближался обмолот, но до того надо было поспеть обязательно. И старик отобрал и стал откармливать да лелеять, будто к закланию готовил. И траву им привозили прямо во двор, чтобы жир на пастбище не растеряли. И обмолот уже кончился, а тот все не появлялся. И тогда дед послал отцова брата к нему в дом и велел пригласить на ужин. И вот уже, говорил отец, пришел черед брата обливаться потом. Но только тот опять нас обманул. И брат вернулся и передал старику весь разговор, слово в слово. Вернее, не разговор даже, а только речь, потому как сам не успел и рта раскрыть и заговорил лишь теперь:

– Овцы ему летом нужны. Я о них и не обмолвился, он сам с того начал. Сказал, что к лету без нас раздобудет. А сейчас ему, мол, ничего не нужно. А потом спросил, когда амбар открыть. А я не знал, что ответить, и только глядел, как он прячет зевок, стиснув челюсти. Я стоял и молчал.

И тогда, говорил отец, старика затрясло. Он просто сидел и трясся у всех на виду, и всем было ясно, что не от смеха. И отец еще подумал: плохо дело. На лихорадку похоже. И наверняка думал о том, что зараза эта опасней любой лихорадки, и знал уже, что ему тоже не оста-

новиться, потому что он отравлен не меньше, и не меньше его отравлен брат, и что никому из них не излечиться. Но наутро они заполнили мешки, и тому осталось лишь открыть амбарные двери. Так что он опять победил.

И, говорят, изо дня в день все так же сидел на ныхасе, чистя ножиком ногти и безмолвно озираясь по сторонам, покидая ныхас лишь затем, чтобы подсыпать хворосту в очаг. Но тогда еще нашлись бы люди в нашем ауле, готовые поспорить, что он в нем проснется – мальчишка то есть. И нашлись бы сомневающиеся, но вряд ли кто осмелился бы сомневаться вслух. И потому приходилось просто ждать – в расчете на то, что как ни крути, а у седин терпения больше. Истина эта подтвердилась и вправду скоро, только совсем не с того боку, откуда должна была. И, говорят, с тех пор мало кто был настолько глуп, чтобы думать, что он когда-нибудь проигрывает или уступит, пусть даже того и захочет. И когда в то утро он, шатаясь и хромя, плелся к ныхасу, все уже не только слышали или знали, но, пожалуй, и видели все, как оно было, когда он уступал да проигрывал, не особо при том защищаясь и уж совсем не помышляя о сдаче, как был избит, повержен, растоптан – а все одно победил. Видели, как посреди дороги окружали его их собственные внуки, правнуки, дети, а он все шел вперед, не замедляя, не убыстряя шага, словно не замечая, и как уперся в живую стену, но и тогда не сделал и движения, чтоб оттолкнуть, ударить или хотя бы прикрыться. И как ни разу не вскрикнул, принимая на себя тумаки вместе с их яростью, изо всех сил стараясь не упасть. И как в конце концов упал, рухнул наземь, сбитый десятками кулаков и волной чужого дыхания. И как дыхание становилось громче и жарче по мере того, как сбивались в спешке удары, метившие в упорное его молчание, и как оно, дыхание, срывалось на крик остервенелых детских глоток, и как стервенели они сначала от изумления, затем от злости, а потом уже только от страха, как ни один из них, из взрослых, застыв кто где в оцепенении и поту, не смог произнести ни слова, а тем паче приблизиться, заступиться, ибо сперва было как-то рано, потому что каждый ждал, а потом вдруг разом сделалось поздно, едва ясно стало, что он их опять обманул – всех: внуков и стариков, детей и отцов, не издав ни звука и не сделав и движения, чтоб защититься. И когда побоище струсило, кончилось и разбежалось, когда он остался лежать посреди почерневшей пыли в красных сумерках, им понадобилось еще с горстку времени, прежде чем они с собой совладали и скинули с плеч оцепенение. Но чуть они к нему приблизились – к испачканному маленькому телу посреди черной земли, – как тут же замерли на месте. Ибо он уже стоял, а потом (они еще и понять не успели, что сами больше не идут, больше не движутся, а только наблюдают) снова шел к дому, равномерно и тяжело, широко и непреклонно, словно буйвол на пашне. Крохотный такой буйволенок... И было это как чудо, и длилось не дольше мгновения: лежит, стоит, идет. Будто им все пригрезилось, будто он не то что не лежал никогда навзничь посреди дороги, но даже и не останавливался...

И теперь, глядя следующим утром, как он взбирается вверх по улице, каждый из тех, на ныхасе, думал лишь о надежде на то, что смолчит. Только молчал он недолго – ровно столько, чтоб отдышаться и смахнуть испарину со лба, – и они слышали:

– Это в последний раз. Больше не будет.

А потом они снова долго ничего не слышали, покуда он не сказал:

– Передайте им: в любой толпе сыщется первый. Тот, кто делает первый шаг, или тот, на кого оно может почудиться. Пусть они знают – и первый, и кто другой, на кого оно может почудиться, – больше не будет. А после скажите, что видели мой нож и что мой нож поклялся, что было в последний раз.

И опять они слушали молчание. И, говорят, в тот день да еще в два следующих ни один из них не пустил ребенка на улицу. А он, залечив раны и подсушив болячки, по-прежнему ходил к ныхасу и ничего большего не делал, греясь на остывающем с каждым днем солнце и ковыряя лезвием под чистыми ногтями. И по-прежнему по утрам на пороге натыкался

на миску с едой и пивной кувшин, а к вечеру выставлял их обратно, не чувствуя ни злобы, ни благодарности, ни презрения.

Но к зиме кое-что изменилось. Видно, ему наскучило. И тогда он снова пришел к моему деду и спросил:

– Сколько зарядов стоит заяц? Ну, в общем, сколько стоит один заяц в пересчете на те штуки, которыми его убивают?

И дед помолчал и сказал:

– По-разному. Смотря сколько раз в него пальнешь.

И тот кивнул.

– Потому и спрашиваю, – сказал. – Неплохо бы сосчитать, сколько зарядов стоит спуститься к лесу, войти в лес, отыскать зайца, попасть в зайца и принести сюда тому, кто не спускался, не отыскивал и не попадал, кто не потратил на то, чтобы взять в руки подбитого зайца, не то что сил, но даже и времени? Может, ты знаешь?

Дед подумал и сказал:

– Может, и догадываюсь.

И тот спросил:

– И что твоя догадка? Наверно, дорогая?

И дед сказал:

– Не так, чтобы очень. Просто ее по-всякому сосчитать можно, а зарядов каждый раз будет ровно столько, сколько заяц стоит.

И тогда тот прищурился и посмотрел на деда так, словно прикидывал, сколько может стоять сам старик. Только вот, говорил нам дед, никак не понять было, на что он меня пересчитывает: на зайцев или заряды.

Но потом мальчишка кивнул и сказал:

– Согласен. Говори.

И старик мой позвал кого-то из сынов и велел принести свинца и порошу на четыре заряда, а когда тот принес, дед ссыпал все в маленькую быструю ладонь, и ладонь тут же исчезла, а потом, говорил дед, появилась снова, но уже пустая. И дед сказал:

– Только ежели он останется в лесу, тому, кто не спускался, не охотился и даже не промахнулся, будет мало проку оттого, что он не тратил на это ни сил, ни времени. Ежели заяц в лесу останется, тот, кто не спускался, сразу вспомнит про четыре заряда и захочет чего-то взамен. Пожалуй, он захочет новую часть со следующего обмолота.

– Вот уж не думал, что у обмолота столько частей имеется, – сказал мальчишка. – А ты?..

Они помолчали – ровно столько, чтоб у гостя глаза совсем не соскучились на дедовом твердом лице. Потом мальчишка сказал:

– Ладно. Идет. Только покажи мне, как это делается.

И дед показал ему, и рассказал, как надо целить, и даже смазал мозгом ружье, чтобы было по-честному, ибо почти наверняка уже знал, что теперь-то его взяла, теперь-то уж выгорит. А когда человек наверняка знает, что дело выгорит, ему хочется, чтобы все было по-честному – хотя бы внешне, хоть со стороны.

И когда тот ушел, дед кликнул отца и сказал:

– Хватит. Снимай. Нацепишь прежний. Ведь этот не про тебя. Или забыл?

И, конечно, отец помнил, не забывая про то ни на минуту, и потому снял кинжал без лишних слов, но только, говорят, все одно побагровел. «Будто мне усы сбрили, – рассказывал он. – Будто половину лет отобрали. Осмеяли будто...». Ну а деду это как-то вовсе и не интересно было, что там отец чувствует и как на него глядит. И два дня, говорят, ишака водили на ближний водопой, как раньше, а дед не замечал и даже за соседский забор не поглядывал, словно в исходе и не сомневался.

Только раз поднялся к ныхасу и кое-что сказал тем, кто там сидел, укутав старость в бурки. А потом, как спустился, уже точно не сомневался, и во взгляде его был кроткий свет. И тогда, говорил мне отец, я впервые задумался о доброте и о том, как она выглядит. Вернее, как выглядит, я знал уже, уже увидел, просто не привык еще. Как не привык думать, что глаза у него могут быть так ненасытно добры, и при этом того не стыдиться. Только, говорил отец, я и не подозревал, что может быть столько добра в глазах, которые всего-навсего тем и добры, что заказанной наперед победой. Так что я от греха подальше запретил себе про то думать.

А на третий день старик велел испечь пироги к обеду и теперь ласково ждал на дворе, глядя на дорогу и спящее солнце над нею. И к тому времени уже всем было известно про слова, что он сперва сочинил, а потом принес на ныхас, чтобы произнести их там и разом успокоиться.

Сказал он вроде бы насчет того, что когда двое о покупке сталкиваются, третий в стороне стоит. Он просто стоит и смотрит, пока они не кончат. Ведь этот третий, если он земляк и законы помнит, не станет ни с кем ссориться из-за какой-то покупки, даже если у него самого есть что продать. Он не станет мешать, потому что он настоящий земляк и никогда никому не завидует. Он, конечно, умный земляк, а коли так, то знает, что ум всегда виден и всегда ценится, особо когда оба сделкой довольны и уже по рукам ударили.

Вот что он сказал. Не думаю, что больше, но и меньше – вряд ли тоже. И теперь дед сидел во дворе и ждал с охоткой, когда войдет в калитку гость и впервые признает, что проиграл. И, конечно, ждал не только он и не одни мы. В ауле достаточно было глаз да ушей, чтобы ждать. И когда тот наконец появился вдали, те, на ныхасе, уже знали, но старик даже не привстал, чтоб взглянуть – так был уверен. А мы, говорил мне отец, выстроились рядом, по команде будто, хоть никакой команды не было. И каждый из нас тоже старался не вглядываться, только и разговаривать о чем-то был недосуг. Так что глаза нас все ж пересилили, и мы всмотрелись. А потом, как увидели, уже и вымолвить ничего не могли, только взгляд переводили со старика на дорогу, с дороги – на старика, еще и не думавшего сомневаться. И, говорил отец, я не чувствовал ничего, кроме стыда да злорадства. Только стыд быстрее ушел, и когда тот приблизился, осталось одно злорадство, потому как все мы были отравлены...

И он подошел к нашим воротам, отворил калитку и сказал твоему деду:

– С тебя еще четыре заряда.

Все, что сказал: с тебя четыре заряда. А твой дед сидел и изо всех сил пытался не верить, и уж больше не трясся, как в прошлый раз. А потом молча кивнул мне, и я принял из быстрых ладоней обоих зайцев. А потом дед твой еще раз кивнул, и я сходил за порохом и свинцом, а мальчишка уже тянул руку, и я сыпал в нее. Дед твой глядел ему прямо в глаза и тужился что-то сказать, но вместо него сказал мальчишка:

– Коли нужна еще парочка, лучше бы сразу оплатить. Коли хочешь купить новых двух, прибавь еще на восемь.

И старик дал знак, и мне пришлось снова вернуться в дом и вынести тому задаток. Так что теперь у него было ровно на дюжину зарядов и свинца, и пороха. Если, конечно, на первых двух он истратил все четыре, только сейчас уже и за это нельзя было поручиться.

А когда через несколько дней он вновь открыл нашу калитку, старик скупил уже всех четырех, добавив к намеченной цене половину и еще шестнадцать пуль да мешочек пороху. За будущую охоту. А тот стоял перед ним, нахмутив брови и прикусив губу, загибая пальцы и откладывая в карман карца отсчитанные. Старик глядел на него, раскинув в стороны руки и склонив голову набок, словно чего-то искал, но все найти не мог, словно уж и не помнил точно, что ищет. И выходило, что сделка росла и множилась, как убитые зайцы в нашем дворе, только вот росла она совсем не так, как ей следовало бы. И получалось теперь, что деду нужно было для победы скупить всех зайцев с нашего леса да потом еще успеть дать задаток за следующих, только вот никакая прибавка с никакого надела в нашем ауле не стоила столько свинца и пороха.

И, конечно, говорил отец, дед твой прекрасно понимал, но еще с полмесяца не мог остановиться, тем более что никто ему не мешал: никто не забыл его речь на ныхасе, попросту не желал забывать. И потому помешать уже мог только сам мальчишка (или мы, если б отстреливали зайцев всей семьей с утра до ночи да притом били бы без единого промаха. Только тогда уже нам пришлось бы выменивать по кускам всю землю обратно на те пули и порох, что у него скопились). И, говорил мне отец, все это походило на работающие жернова, перемалывающие наш свинец и подкидывающие взамен заячьи уши. И уж никто опять не ведал, когда это кончится, и значит, в который раз настал черед ожидания.

Но через полмесяца ожидание смилостивилось и отпустило, вынув занозу из длинных наших дней, и вновь подослало мальчишку.

Он заглянул ближе к вечеру, когда солнце ссыхалось и дед твой сидел на дворе на застеленном кожей чурбане, привычно оглядывая пустой воздух с дороги. И когда тот вошел, старик не шелохнулся, не моргнул, словно привязан был к куску дерева, на котором прежде рубили мясо да дрова и который уж сколько дней кряду застилал с рассвета кожей. И мальчишка сказал:

– Я согласен. Верну по пять за каждого барана. Только они мне к лету нужны.

А дед даже не двинулся и не кивнул, и тому пришлось повторять:

– Пятнадцать зарядов за тех трех баранов, которых ты так здорово откормил, что любой кабан позавидует. Их приведут ко мне, когда степлеет. Но заплачу сейчас. Продавать тебе будет легче, чем покупать. Да и на что тебе столько зайцев?

И дед глядел вязким взглядом в пустой воздух, не отвечая и не шевелясь, будто и не слышая. Тогда мальчишка поманил пальцем, и я послушно подошел и подставил обе ладони, и потом послушно смотрел, как он быстро уходит и как послушно и весело прыгает тень за ним. А потом я вернулся в дом, швырнул мешочек в угол и долго пил воду из кувшина, и вкус был такой, будто долго бежал перед тем. Твой дед сидел на дворе, подставляя спину сумеркам и нашей жалости, и был похож на собственные поминки, хоть мы тогда их еще и не видели. Только все уже знали, что он устранился, да вот смотреть на это было тяжело, все одно как груженую арбу в гору тянуть.

Так говорил мой отец. А дед уж дальше и не рассказывал. И потому про карты узнал я от отца. Было это годом позже, когда Одинокий впервые отправился в крепость, одолжив кобылу у Ханджери и оставив в залог свою часть с обмолота, хотя мог бы оставить уже и что другое. Ну хоть бы мешки с зерном или восемь турьих шкур, которыми разжился за лето, а еще лучше – свое место на нашем ныхасе, или по крайней мере – свое одиночество. Потому что никто его не любил, я говорил уже. А когда он приехал обратно, выяснилось, что даже свертка никакого при нем не оказалось, и было это странно, совсем на него не похоже, так что он снова вроде бы обманул. Ну а наутро поднялся к ныхасу и ничего не рассказывал, и, конечно, у него не выпрашивали. А затем полез рукой в бешмет и достал оттуда колоду. Но наши только глядели и гадали, и была эта штука похожа на него самого: маленькая и непонятная, хрупкая и неприступная, и будто бы хитрее да ловчее всех, кто там сидел. Так рассказывали. А потом он вскрыл ее, вынул карты и разложил на земле перед ними вверх рисунками. И наши глядели на них, пряча пальцы, потя и прикидывая, на что он ее обменяет. Но никому и в голову не пришло еще истинное назначение. И, наверно, кто-то подумал, что это новые деньги русских из крепости, куда дороже тех, что они когда-либо видели или про которые, может, только слышали. И тогда им должно было показаться, что на эти штуки он собирается прикупить или обменять куда больше того, что даже ему могло удаться, и, похоже, стало им немного страшновато, ибо отец мой потом рассказывал: понимаешь, было так, словно нам диковинного зверя показали или собственное незнание. Показали какой-то секрет, не объяснив его и даже не подтвердив, что то и вправду секрет. Будто бывают на свете вещи, сотворенные руками человеческими и служащие лишь затем, чтобы на них смотреть, ничего не понимать, а потом гадать, как

они к черкеске подвешиваются, коли уж ни для чего полезного не пригодны, да ведь с таким мы столкнулись впервые...

А потом он ткнул в них пальцем и сказал:

– Пусть каждый выберет себе одну. Я выбираю эту.

И накрыл камушком ту, где было нарисовано красное пятно. И тогда уже выбрал Ханджери, а за ним Сослан, и после Таймураз, а потом и все остальные. Только дед твой не стал ничего выбирать, но и отвернуться тоже не решился. И мальчишка сказал:

– Запомните, чтоб не спутать, – и сгреб карты в кучу, а затем перемешал и уложил колоду вверх рисунками. А после кивнул Таймуразу, и тот перевернул первую. Они по очереди переворачивали карты – все, кроме твоего деда, – до тех пор, пока старый Агуз не сказал:

– Вот моя.

И мальчишка кивнул и ответил:

– Ты выиграл.

И Агуз спросил:

– Что? Что выиграл?

А мальчишка пожал плечами и ответил:

– Ничего. Просто – выиграл.

И тогда они помолчали, и, говорил отец, будь мы все прокляты, если они не знали уже, что теперь предложит Агуз. И Агуз предложил то самое:

– Пусть камушек будет заместо чего-нибудь, что и впрямь можно выиграть. Ведь повезти может любому?

И когда они согласились, Агуз сказал:

– Ну хотя бы пусть будет бурдюком араки.

И они опять согласились, но мальчишка сказал:

– Нет, у меня нет араки. Ставлю четверть мешка с мукой.

И они кивнули, и дали всем подряд перемешать карты, и, конечно, заставили мальчишку мешать в середине. Только его карта все равно раньше вскрылась. И тогда он сказал:

– Теперь и я ставлю бурдюк...

И опять они их смешали и сложили стопкой у ног, и сказали мальчишке, чтоб тянул первым, и он потянул, и сразу достал свою карту, и стал ножом чертить палочки на земле. А дед твой сидел рядом и сглатывал немую слюну, а на губах его застыло что-то неровное, навроде улыбки.

Он так и не сыграл в тот день, а все глядел заворуженно на землю, где тот ровно, густыми порезами, чертил свои палочки, и, говорят, на всякую его палочку приходилось в лучшем случае по половинке палочки у других. И в тот же вечер от двора к двору принялись снова гонцы с поклажей на спинах, а некоторым понадобилась арба, только вот мальчишка не вынес из дому даже мусора, хоть его ворота дольше других стояли нараспашку, и ему, как всегда, приходилось лишь открывать амбарные двери, когда несли мешки, да провожать к кладовой, если тащили бурдюк.

А потом несколько дней опять ничего не было, и все эти несколько дней они терпели, потому что он будто забыл, будто б ему снова наскучило. Но после они его попросили, и он пожал плечами и принес, и играли уже на утварь да железо. Только наш старик, говорил отец, слава богам, уже устранился и лишь наблюдал, приклеив к лицу бледную улыбку. И то был второй за неделю раз, когда он сидел совсем близко, но умудрился не проиграть. Он сидел совсем близко и следил за глазами, в которых не было даже азарта, одна только вежливость и скука, даже когда он чертил на земле нескончаемый частокол.

И вот опять заспешили гонцы с поклажей, и дом его стал похож на склад, столько там всего набралось. Только ему это было вроде как и неинтересно, и после пару дней его на нихасе не видели, хоть наши ждали, разгоряченные игрой и отравленные больше, чем когда-либо. И,

говорил отец, к нему украдкой подсылали сынов, чтобы справиться о здоровье, потому как просто одолжить колоду духу не хватало. А потом вдруг как-то сразу все заметили, что миски на пороге уже нет, и нет кувшина с пивом, и вспомнили, что не могут припомнить, когда они оттуда исчезли, и, стало быть, не могут припомнить, когда от него отреклись. Только почему-то говорить об этом не получалось, словно об утрате общей или общем грехе, так что, может, теперь его даже и ненавидели, хотя и не все: деду-то моему, должно быть, в чем-то оно и приятно было, будто он с аулом местами поменялся, будто теперь пришла его пора наблюдать да посмеиваться. Но, как ни верти, а дед был тоже состряпан из ихнего теста, и потому разница состояла лишь в этом вот его самоустранении да бледной (не темнее лысины, говорил отец, а ту солнце лишь в день похорон увидало, когда шапка рядом в гробу лежала и дождь еще шел, да ты помнишь – шел дождь, будто совершая повторное омовение, и белый череп словно покрылся весь холодной испариной, и тогда только, говорил отец, идя за гробом, я вспомнил ту его улыбку, вернее, понял, на что она была похожа) жилистой (от самых ключиц тянулась, и жилы на шее дрожали от напряжения, рассказывал мой отец) улыбке, а не в том, что мозги его трудились как-то иначе. Думал он так же, как все – или почти так же, – а эти все думали совсем не так, как тот, кто их обыгрывал. И даже настолько не так, что покамест не предугадали ни единого шага его, ни единой мысли или желания, и, выходит, были обречены.

И было то совсем не невезение (не одно только невезение, не в нем дело), было что-то другое, глубже и древнее, чем просто случай или чужая удача. Было это как рок.

Ибо они не могли иначе. Они могли только двигаться к ней, к своей обреченности, и походя отвергать то, что на их пути стояло. И потому они его вынудили: ведь он не хотел и противился до самой весны. И уже отказывал, даже когда его просили, ссылаясь на потерю. Но они, конечно, не верили, как не верят в пропажу богатства, что внесли тебе в дом и уложили в твоих закромах, а после уже туда никто кроме тебя и не заглядывал.

Да, думали они совсем не так, как он. И когда к весне стало ясно, что не уступит, нарисовали сами, вырезали кинжалами на тонких дощечках, по памяти восстановив рисунки и выскоблив их на поверхности, а потом смазали с обратной стороны козым жиром. Так что получилось хоть и коряво, но вполне пригоже, особенно если учесть, что им и выбирать-то не приходилось.

Только дед мой все равно не играл. Он лишь смотрел, кивал головой на всякий выигрыш и ни с кем не ссорился. И, говорил отец, был единственный похож на старика, хоть Ханджери и Агуз родились раньше. И было теперь иначе. Потому что прежде побеждал один, а нынче уж везло нескольким, и тот, кто уходил ни с чем вчера, мог победить сегодня. Кто утром ненавидел, был ненавидим к вечеру, сам не успев остыть от злобы и зависти, а назавтра злоба с ненавистью возвращались, и с победой уходил другой. И не играли уже двое: дед да мальчишка. Только первый не играл оттого, что разучился выигрывать, а второй – потому что не умел, не знал, как проиграть.

Да и наблюдали они по-разному: дед ухмылялся и кивал, наслаждаясь своим равнодушием или тем, что позволяло ему не ссориться и не проигрывать, что позволяло видеть, как проигрывают другие, и быть так близко к чужому везению, что трепетали радостью пальцы. Так что он вроде бы и играл, только не в ту игру, что остальные. Играл сам с собою, одними глазами, и всякий раз побеждал, пусть ничего за то не получая, ведь ему доставало того, что проигрывали другие.

Ну, а мальчишка смотрел по-настоящему. И, говорил мне отец, сперва, пожалуй, ему было занятно следить, как выигрывает не он, и мысленно ставить себя на место тех, кто проигрывал, на то место, где в действительности ни по что бы не оказался. Но нет, говорил отец, вряд ли. Любой другой, только не он. Он ведь мог мысленно поменяться с ними местами еще тогда, когда сам играл. Ему бы ничего не стоило. Ему уже тогда было скучно. Значит, и сейчас не могло быть занятно. Но смотрел он не так, как твой дед, а по-настоящему. Уж не знаю,

как объяснить, но только во взгляде его было больше от проигравшего, чем от победителя. В общем, глядеть ему было не то чтобы больно, но будто не с руки, неприятно что ли, а не глядеть он тоже не стал бы, потому как что еще было делать на нашем ныхасе, коли не играть и не глядеть?

Ну а после он все же не выдержал. И однажды пришел туда спозаранку, перетаскав к ныхасу бурдюки и мешки с зерном. А когда все собрались, достал свою колоду и протянул им, чтоб перемешали. Потом они сделали ставки, и он сказал, что ставит все, что принес. Они не поняли и ждали, что растолкует, только он просто махнул рукой и спросил:

– Разве запрещено ставить больше того, что другие? Ведь другие ставят по-прежнему?

И когда каждый из них потянул по разу, но так и не добрался до своей карты, он пропустил свой черед и сказал, что переносит попытку на следующий кон. Никто из них не возразил, говорил отец, лишь дед твой крякнул да перестал улыбаться. И они опять потянули, и первой вскрылась Агузова карта, и пока мешали колоду, мальчишка следил за потным Агузовым лицом, щурился и что-то в уме прикидывал. А все они глядели на него, и никто еще, кроме деда, не понимал.

И они снова сделали ставки и ждали теперь, что поставит он, мальчишка, на что обменяет свой проигрыш, ведь для победы прежде ему хватало одной попытки, а он подстраховался и имел их теперь целых две. И будь я калекой, если не вижу их лиц, жаркого солнца и света с горы. Будь я калекой, если там не было палящего солнца, если от света не делалось больно глазам! И я не сын своего отца и не внук своего деда, коли этот свет не ослепил их, коли не размякли от солнца их обманутые азартом мозги. Они же знали, что проиграют! Они просто не могли не проиграть, и даже ему, мальчишке, не удалось бы их заставить, пообещай он им манны небесной, а не то что собственный дом, не то что полный надел фамильной земли. Их ослепило солнце...

Но не только оно. Теперь, когда я думаю об этом, мне кажется, я почти уверен: иначе и быть не могло. Он предложил им сыграть, и они согласились, приняв его новые правила. Он предложил сыграть им против своего одиночества – всем вместе, исключая разве что моего деда, да только тот не стал бы играть даже на собственное эхо – не то что на зерно, плуг или подпругу. Он не стал бы играть даже за целое ущелье – куда там старикам малого аула! Ну а те согласились. И не оттого, пожалуй, что всерьез рассчитывали одолеть, не оттого, что тот кинул им вкусную приманку – нет! Не только поэтому. Поймал он их на ином, и это иное вкупе со светом их обмануло. Так оно мне кажется. И когда он сказал им: «Ставлю дом и надел», они уже почти были готовы, ибо давно хотели, но так и не отделались, давно не любили, но так и не смогли ему того простить, были готовы, потому что солнце палило... Готовы, потому что вместе – против одного, но впервые – в открытую.

И он сказал им:

– Взамен на обещание. Одно лишь обещание. Только клянется пусть каждый, — и они опять не возразили, и он добавил: — Хочу, чтобы вы забыли. Вернули мне и забыли. Дайте задаток.

И Ханджери вынул из бешмета дощечки и передал ему, потом смешали карты. И, как прежде, тянули все по кругу, пока не настал его черед. А он, говорил отец, когда достал чужую, даже не побледнел, не вздрогнул, не вскинулся (вскинулись да бледнели другие, заработав лишнюю минуту в игре с обреченностью, поддавшись липкому зною надежды, о которой-то – минуте, надежде – им потом и вспомнить без отвращения не удастся). Он только отложил ее в сторонку и сказал:

– У меня есть в запасе еще. Я пропустил прошлую игру.

А затем закусил губу и медленно взялся за следующую (словно выжидая, когда минута кончится), а они глядели, не дыша и изнывая от света, и уже никто из них не походил на старца, даже твой дед. А когда он вскрыл ее и показал им, собрал колоду и сунул в карман, они тихо

слушали, опустив головы, как трещат ломающиеся дощечки, как падают им под ноги, и как уходят его шаги.

Но минуло еще немало лет, прежде чем он ушел навсегда, покинув дом и могилы и землю, ради которых когда-то вернулся и едва было не заплатился жизнью, чтобы потом, уцелев, охранять здесь свое одиночество. И пусть он не стоял посреди времени, отслаивавшегося в прошлое аульной памяти, пусть не всегда колот его на куски и пусть часто сторонился, не желая ему мешать, только вот оно, время (теперь-то ясней ясного), сверяло по нему тугие воды свои, подбивая с боков, как крепкий валун, упрямое его терпение, подмывая почву под одиночеством, чтобы в конце концов оторвать его от нашего берега и унести туда, где все для всех начнется с самого начала, туда, где не ступала людская нога триста лет, туда, куда только и суждено было отправиться тайне...

Только было это позже. Гораздо позже. А тогда никто еще и подумать не мог, что он все-таки проиграет, и помышляли наши лишь о том, чтобы если не предотвратить, так хотя бы умалить, не подорвать, так хоть не смириться с вечным его даром (или проклятием) победы. Им надоело. Но в землю стекло еще пару лет, пока они не взбунтовались, и два года скоблили солнцем, вымывали дождями, давили снегом и пылью глушили их гордость, пока не раздражили ее настолько, что впору было взбеситься и даже забыть о совести, нарушить клятву и растоптать ее копытами купленной в складчину лошади, полудохлой кобылы, что однажды к утру оказалась привязанной к почерневшей коновязи, в полупустом дворе, с охапкой желтого сена под мордой. Да, они купили ему в складчину кобылу. Взамен на свое обещание. Только теперь уже были не дощечки, были пластинки из речной гальки, и играли они совсем не так, как учил их он, хоть суть оставалась прежней. И когда он поднялся к ныхасу и увидел прочерченную по земле дугой линию, когда молча глядел потом, как они швыряют заскоружлыми ладонями гальку, как катятся и переворачиваются, сверкая белым, гладкие пластинки, как они отмеряют пядью расстояние до земляной черты, как хрипло выкрикивают ставки, как в упор не замечают его и давят в горле смех, когда глядел на согбенные азартом спины и цепляющиеся за морщины года, когда слушал голоса, с сипом вдыхавшие воздух, когда стоял перед ними и боролся с собственным криком, когда дед мой сжимал дрожащую палку в руках и был единственным, кто поднял к нему глаза, когда взгляды скрестились в застывшем мгновении и дед вдруг застонал, когда старик разорвал на груди бешмет и судорожно ловил ртом невысказанные слова, когда тот повернулся, пошел, а затем побежал, когда игра даже не прекратилась и стучала галькой по нашей земле, когда захлебнулась она выстрелом да срезанным ржаньем, когда отец мой стоял на пороге и смотрел на падающую за оградой лошадь и быстро тающий дымок, на мокрое лицо с пробившимся пушком и черными глазами, когда вскрикнули в испуге женщины и прогремел гром, – когда все это случилось и хлынула с небес вода, когда она взбучила реку и понеслась на наши поля, когда подобралась оттуда к дому Сослана и своротила забор, пристройку, полхадзара, когда обуял души ужас и заставил уста бормотать молитвы, – тогда они раскаялись и пожалели.

Они раскаялись и пожалели, но неделю спустя не заметили выстрела в его дверь и застрявшей в досках пули, а значит, не видели и стрелявшего, хоть и знали, что он не таился. А после не видели опухших от бессонницы глаз и взведенного курка на ружье мальчишки, с которым тот не расставался до тех пор, пока они не слышали, как горланит по ночам на весь аул песни пьяный Сослан.

Однако больше они не играли. А к зиме мальчишка исчез, и они облегченно вздохнули. Но потом он вернулся, и одежды на нем было ровно столько, сколько нужно для того, чтобы прикрыть срам и замотать лохмотьями раны. И, говорил отец, ему опять не удалось проиграть, и никто, даже дед твой, не помнил, чтобы кому-то в нашем ауле доводилось в таких летах одолеть медведя, и никакому медведю не приводилось быть убитым мальчишкой, в котором и злобы-то особой не было, а была лишь сухая усталость да скука. Но это – когда вернулся,

когда ташил на себе в гору подвязанные к плечам салазки с разделанной тушей. Так что теперь у него была еще и медвежья шкура, в придачу к мясу и пуле в дверях. А потом и клочок седых волос над шеей.

Конечно, его не любили.

– Ты не думай, – говорил мне отец. – Он ходил туда и разговаривал с ними. Мы часто видели. Он сидел у могил, склонив голову и обхватив колени руками, глядел в землю и разговаривал. Он мог сидеть там часами. А мы работали, и каждый восьмой мешок с обмолота набивали доверху, словно он когда-нибудь проверял. Уж не знаю, как батраки, но мы набивали доверху, даже противно делалось. Но вот что: он никогда не походил на сумасшедшего. Разве не странно?

Так говорил отец.

Иногда Одинокий одалживал лошадь, всякий раз у Ханджери, и ездил то ли в крепость, то ли к тем, что когда-то за ночь лишились пятерых коней, а потом получили одного из них обратно и даже не пустили крови тому, кто умудрился дважды украсть и пойматься, чтобы обычное в нем навсегда кончилось и все, целиком, пошло на корм одиночеству. Но и там он долго не задерживался, а гостей у его ворот наши не видели. И некоторое время все было тихо да спокойно. Он был почти незаметен, и неслышим, и почти забыт, как старая болезнь, напоминающая о себе лишь внезапными приступами. И наши почти не следили за ним, когда он, вместо того чтоб сидеть на ныхасе, копался в прибрежном иле и ковырял ножом выбранную породу. Почти не следили за тем, как каждый месяц полнит он камнями сколоченную повозку и идет к Ханджери за кобылой, а потом дребезжит по дороге к равнине. Потому что ничего он из крепости не привозил, кроме разве железной утвари да инструментов, но ведь их он давал Ханджери в счет услуги.

И почти не замечать да не слышать уже чуть не вошло в привычку, чуть было нормой не стало, когда он вдруг однажды вернулся на кауром жеребце, в новой черкеске и с серебряным пояском, а на пояске том висел уже не нож с нехитрой деревянной рукоятью, а настоящий кинжал дагестанской работы. И только повозки не было. И у двора Ханджери отвязал он его тощую кобылу, слез с коня, вытащил из-под седла скатанную трубой попону, развернул попону и накинул кобыле на спину, а потом сказал:

– Спасибо тебе. Твоя доля.

И глядели наши, как древнейший старик аула подходит к своей хилой кляче, трясет подбородком и боязливо ощупывает алый бархат на ее горбу. И отец говорил, у всех руки сами сжимались в кулак и было тесно зубам во рту, и снова что-то споткнулось, выпало, смазлось в прежнем течении жизни, что-то лопнуло или сломалось, застопорив движение времени, оставив видение – опалевший старец с путающимися на попоне пальцами, а вокруг – сомкнутые в злобе уста, хмурые лица и больной безветрием воздух.

Да, я вижу их, как если бы сам там был, как если бы глядел на это теми же разверстыми в неверии глазами. Я вижу их сквозь вечные токи памяти, вливаемой горячей кровью из поколения в поколение, и не могу не видеть этого, как не могу освободиться от него, того видения, спаянного с нашей судьбой и подчинившего ее цепью неудач и проклятий, цепью смертей и рождений, надежд и отчаяния, цепью имен и вопросов. Я смотрю на них, следящих за измученным радостью стариком, за его виной, состоящей лишь в том, что одалживал лошадь, не помышляя ни о награде, ни о доле, ни о барыше, сорванном с общего их незнания. И смотрю на его, Ханджери, испуганное сомнение, повисшее прямо на поводу, за который он тянет в дом алый бархат (клячу не должно быть видно: я смотрю их глазами), я вижу его лицо и лица тех, кто следит, и лица тех, кого не было там, кто родился позже, и все они, эти лица, вкрапляются белым в беду, только ее вот пока не видать, она лишь в молчании, в отсутствии ветра, спрятанная в толпе из лиц, в их сомкнутой общности (и вижу все это четко и разом, а значит, своими глазами, зрячей их памятью, где все смешалось: виденное и услышанное, слы-

шанное и домысленное, домысленное и до сих пор недуманное, но живое и яркое, почти как алый бархат). И гляжу потом, как выправляют они свои голоса, переговариваются негромко и не про то, как голоса помогают им разойтись и как потом они дают голосам передышку, каждый в своих стенах, как пустует в тот день ныхас и как никто из них не в силах ничего изменить, не в силах оторваться, выскользнуть из толпы, которой уже вроде бы и нет, но из которой им не выбраться, ибо это единственное, что могут они предъявить загадке одиночества, плутающего по их земле и не желающего с ней расставаться.

И после они ждут несколько дней, ждут недели, ждут месяц, пока не стерпится с ударом Ханджери, пока не покается и не скажет:

– Но эта наша земля. И наша река. И у нас есть повозки.

И тогда они схватят заступы, носилки и слова, и спустятся с ними к воде, к тому самому месту, где уже зияет яма, где уже и искать не нужно, и начнут рубить да копать, в кровь сбивая мозоли. А может, я вижу не так?

Но потом они движутся длинной распутицей к крепости, увязая в весне и липком снегу, и у низины дорога торопит их, разбегаясь широким к обрыву, подгоняя беспокойную, смутную жажду, и кто-то спешит на обгон, и хлещет кнутом кобылу, и где-то на склоне брички катятся вниз, поймав бодрый колесный стук, пока две из них, заскрипев, не сойдутся на тесном пути и не вгрызутся в чужую ось ободьями. И еще малость брички будут катиться вперед, визжа деревом и железом, и еще немного взбороздят тропу колесами, но потом вздрогнут и замрут, не в силах разминуться, будто уперевшись в неслышимый камень, испугав лошадей и смахнув толчком осколки породы за напрягшийся борт. А остальные натянут подпруги, откинувшись телом назад, сплюнут ругательства, спрыгнут наземь с повозок, не выпуская вожжи из рук, лихорадочно шаря ладонями по жидкой грязи, осаждая камнями колеса, вглядываясь в рухнувшую под взглядом глубину ущелья, воздавая молитвы богам и смертным упреки, а потом все вместе столпятся у двух передних и будут кидать в нетерпении советы, а те, кто окажется ближе, побагровев от натуги, налягут плечами в кругами свитую тяжесть и не сразу распят колеса. И, конечно, потом они двинутся дальше, медленно огибая обрыв, прочь прогоняя предчувствие. Они всё еще верят, что вместе. И всякий раз на привале охотно делят трапезу, старательно заполняя время разговорами и смехом – ведь им не страшно, и они показывают себе, что им не страшно. А потом – снова дорога, пока не наступит ночь.

А с рассветом, запрягая коней, кто-то из них прячет утомленные бессоницей глаза, а остальные украдкой пересчитывают повозки. Они всё еще вместе.

К вечеру они въезжают в крепость – длинный обоз, громыхающий по мостовой каменной тяжестью. И, думаю, тут-то впервые их настигает сомнение (шедшее до того по пятам), только виду они, конечно, не подают, старательно хмурятся, словно знают, куда ехать дальше. И обоз катится по узким улочкам, встречая недоуменные взгляды прохожих и все больше срастаясь с гадким своим сомнением, а лица с повозок, бледнея, отекают страстной решимостью – еще бы, столько грохота сразу! – но с каждой минутой терпеть все труднее, а когда первому из них становится не вмоготу, он, наконец, придерживает лошадь, стопоря обоз перед железными воротами – единственным, на что оно похоже.

– Может, здесь? – спрашивает он, оглянувшись.

Но никто ему не отвечает, никто не слезает с повозок, и он видит, как блестит в сумерках пот на щеках, а в глазах их читает облегчение – ведь первый-то он. Так что он, Сослан – думаю, это был Сослан: мести в нем накопилось поболее, ровно столько, сколько повозка вмещала, и оставалось теперь лишь обменять ее на деньги или сразу – на каурого жеребца, или еще на что-нибудь, к примеру, ружье, что бьет без промаха, – спрыгивает наземь, расправляет плечи и не спеша идет к воротам. А у ворот, кликнув хозяев, ждет, а прямая спина влажнеет от жара десятков глаз, приставленных к его лопаткам. Перед собой он видит ручку, приваренную к железной калитке, и слышит за воротами надсадный шум работающих жерновов, и сам

стоит ногами в белой пыли, и ноздри очень скоро уже забиты запахом этой пыли – мукá, понимает он, зачем им камни? Мельница, понимают другие, только причем тут наши камни? Новая мельница, думает Сослан, раньше здесь мельницы не было, а что раньше было – не вспомнить. Попробуй, упомни что-нибудь на равнине.

И взгляд его ощупывает металлическую ручку на калитке, из которой все еще никто не появился. И даже в густеющих сумерках ручка сверкает желтой медью, так что взяться за нее ему, конечно, не просто.

– Эй, чего тебе? – слышится вдруг в тот самый миг, когда кисть уже потянулась к желтому. Обернувшись, он рассеянно ищет хозяина голоса и какое-то мгновение не находит, но этого мгновения достаточно, чтобы он окончательно взмок, а когда находит – совсем рядом, только сбоку, не сзади, а сбоку и внизу, там стоит, под ступеньками в узком дверном проеме, – пот градом льет с лица.

– Я... Мы... – говорит Сослан, запинаясь. – Очень много. Сколько хочешь.

А тот, внизу, раздетый так, что лишь усами на мужчину похож, спрашивает:

– А чего я хочу?

И пускает дым изо рта, и щурится. А Сослан тычет за спину кнутом и говорит:

– Почти три десятка... Разве мало?

А тот пожимает плечами и поднимается на несколько ступенек.

– Что там? – спрашивает.

– Камни. Те самые, – отвечает Сослан.

– Это какие же? – интересуется мельник.

– Такие, что денег стоят. Много денег, – говорит наш.

– Они что ж, золотые? – и мельник подходит к Сослановой повозке.

– Вроде того, – неуверенно говорит наш, и на лице его глупая ухмылка, такая же, как и на всех остальных, кроме разве что мельникова – тот пыхтит трубкой и перебирает руками породу. Потом говорит:

– Покажи.

– Что? – спрашивает Сослан – или тот, что стоит там вместо него, наверняка-то знать нельзя.

– Золото, – вскидывает брови мельник. – Ты ведь сказал, золото?

Тут, конечно, им нужно помолчать. И они молчат, только глаза их разговаривают, а Сослановы еще и бегают, но убежать при этом не могут, так что ему приходится говорить вслух, и он говорит:

– Может, и золото...

Мельник переводит взгляд на породу в своей руке, долго пыхтит, выпуская дым – а наш его покорно глотает, – потом швыряет камень обратно.

– А может, и не золото?

– Может, – охотно соглашается Сослан. – Может, и не золото... Может, другое что... Ага...

Он радостно кивает, и те, что ничего не слышат, те, что совсем уж далеко, завидев блеснувшие в улыбке зубы, радуются вместе с ним.

– Только с чего ты взял, что мне больше золота нужно что-то другое? – спрашивает мельник. – Да еще такое другое, что никто из вас не знает, как оно называется. С чего ты взял?

Сослан мнетя и что-то бормочет, и, должно быть, труднее всего ему спрятать зубы, так что те, задние, по-прежнему радуются, и их лишь слегка беспокоит подступающая ночь. Как бы в темноте не надули, думают они, как бы не обсчитали...

И видят они, как Сослан ныряет головой то в одну сторону, то в другую, словно миру всему зубы свои показывает, и передние слышат, как бессмысленно он повторяет:

– Три десятка почти... И все – доверху... Сколько хочешь... Может, и золото, а может, кое-что получше, ага!.. Надо будет – еще привезем... Ты бери!..

А мельник стоит и смотрит на него, только трубка с дымом уже в руке, а в другой – шелковый носовой платочек. Он смотрит и стоит, и снова им приходится разговаривать глазами, только мельнику этого будто мало, и иногда он жестко покашливает, прочищая горло, но все никак не скажет, и видят наши – те, что ближе всех: Сосланова голова мешает, и вот он ждет, когда она нырять устанет, и ждут все наши.

Но тут внезапно шум хрипнет, и наши слышат, как за забором глухо скрипят жернова, медленно затихая, и тут же ночь становится видней, и слышно даже, как позвякивает упряжь и перебирают ногами усталые лошади. И от тишины этой становится зябко, и те, что ближе, напряженно следят за бледными очертаниями двух пятен.

А после калитка все-таки отворяется, и перед ними появляется мельников помощник, его-то видно хорошо, припорошенного мукой, рослого и широкого, как полтора Сослана.

– Хозяин, – говорит он, – готово на сегодня.

– Постой-ка, – бросает мельник. – Тут нам зерно новое подвезли. Тридцать повозок. Такого крупного зерна к нам отродясь не поступало. Немного, правда, на булыжники похоже, только крупнее.

И помощник подходит к первой повозке и вглядывается за борт. Потом спрашивает:

– А на что оно нам, такое крупное?

А мельник щурится и зажигает спичку, опять прикуривает.

– У них мельче не бывает, – говорит. – Зато такого – сколько хочешь.. Правда?

И Сослан уже даже и не кивает. И наши видят, как беззаботно, нагло, будто глумясь, ползет ворсистый дым над его поникшей шапкой.

– Нет, – говорит мельников помощник. – Жернова не выдержат. Пусть они сперва свое зерно на соседней улице обменяют. Там на мостовой камень помельче.

– Вот-вот, – соглашается мельник. – Если сейчас начнут – к утру жернова пустим.

А темень почти спустилась, и очень видно теперь, как курит мельник, это-то видно лучше всего, куда лучше, чем Сослановы руки, но зато хорошо слышен Сосланов голос:

– Не знаю, как другие, – хрипло говорит он, – а я иначе сделаю. Я устрою подарок. Тебе понравится. Только ты не уходи: надо, чтоб смотрел.

– Эй! – кричит мельник, и всем ясно, что – помощнику. – Эй! Не позволяй ему!

Но шагов не слышно, вместо них сыплются на мостовую камни, и Сослан помогает им голосом:

– Ты извини. Подождать придется. Как-никак левой рукой управляюсь. Но правая вам интересней, по глазам вижу.

А наши не видят, зато понимают уже, что у него в правой руке, и на всякий случай вытаскивают из чехлов свои и целят туда, где должны быть ворота, туда, где оробевшей струей начинается дым. А камни стучат по мостовой, отмеряя во времени равные промежутки, и каждый удар отзывается острым в груди, и наши борются с болью тупым молчанием.

– Тяжеловато, – говорит Сослан. – Передохнуть придется. А может, подсобите, коли торопитесь? Подарок от этого меньше не станет. Ведь правда?..

И дыма уже нет, так что задние целят по памяти.

– Мы подождем, – отзывается мельник. Всегда приятно следить за работой. Мы подождем.

– Ага, ждите, – легко соглашается наш.

Так вот оно и продолжается, только, конечно, Сослан отдыхает все чаще и длится это все дольше, а ночи вокруг собирается столько, что впору огни в окнах считать, и, выходит, целиться стало даже сподручней. И наконец терпенье у мельника лопається:

– Иди помоги, – говорит он помощнику. – Иди, я то у гостя силенок не хватит подарок с арбы спустить. Вся сила у него в другую руку ушла, а ему еще бежать надобно.

И Сослан тихонько смеется и кивает головой:

– Верно, – говорит. – Мы с земляками совсем из сил выбились. Думаешь, они меньше моего устали? Так проверь. Попроси их тоже подарок сделать. У них тоже есть что тебе подарить.

И, понятно, мельник молчит, а помощник, такой огромный, что одежкой его можно укрыть и Сослана, и повозку Сосланову, и кобылу его вместе с оглоблями, остервенело швыряет наземь породу. Кое-кто из наших тоже посмеивается, кое-кто тоже слезает с повозок, а кто-то даже берется за работу, и вот уже гремит камнями вся улица, то здесь, то там бугрясь черными кучами.

Только, думаю, разгружают не все, все не могут, кто-то ведь все еще верит. А потому смотрит на тех, других, осатанелыми глазами, но, конечно, ничего поделывать не может и даже окрикнуть не смеет. И, пожалуй, тут им становится немного тоскливо – оттого что вместе. И я не знаю, что происходит с ними в ту ночь и как еще через два дня им удастся вернуться без потерь, в том же составе, что уезжали, ибо никого из них не арестовали, это совершенно точно: аульная память такого не помнит. А коли не арестовали, – по-разному можно догадываться. К примеру, можно увидеть, как обоз, разгрузившись – не до конца: кто-то же верит, – выезжает за стены крепости и потом ползет к горам пару верст, прежде чем разбить ночлег. А наутро те, кто верит, выбирают одного помоложе и посылают верхом обратно, снабдив лишь кожаным мешочком размером с коровий желудок да тысячей указаний, как им следует распорядиться. А потом все ждут – и те, кто не верит, тоже. Где ж им столько неверия взять, чтоб уехать! Ждут все. И когда не возвращается к обеду, те, что не верят, хмуро молчат, а те, что верят, безудержно болтают и часто натужно смеются. А потом, когда и солнца уже на дороге мало, они видят всадника вдали и на этот раз не обманываются. И можно увидеть, как, подскакав, срывает он с мешка шнурок и высыпает без слов им породу под ноги, и лишь затем сходит с лошади, чтобы припасть к ручью и вдоволь упиться холодом.

Им не нужно ничего объяснять, и теперь те, что перестали верить, угрюмо берутся за дело, кидая за борт камни, а ущелье быстро полнится громом да эхом от него, и почти тут же, едва проснулось эхо, край неба режет кривая молния, и сразу оба грома сливаются в общую тревогу, захлестнувшую дождем тех, кто вместе...

А потом, придерживая ржущих коней и подперев плечами повозки, мешая молитвы с бранью, с ужасом видят они, как стоит посреди дороги Сослан, посреди дождя, посреди самого грома, и тычет в небо ружьем и что-то орет благим матом, а потом ружье плюет в небо слабым огнем. И эта беснующаяся перед глазами фигура – как сам их сумасшедший страх, растравленный воспоминаньем. Только на этот раз им везет, на этот раз ничего не происходит, не задевает три десятка жизней, заслонившихся пеленой общего ужаса. И после, когда ливень уходит, когда свод выжимает из сини последние крохи дождя, они пускаются в путь, думая: может, и впрямь? и впрямь он его подстрелил? Им и самим не ясно, кого – дождь или небо? Что, если небо?.. И что это тогда за небо, если можно его подстрелить? И, размышляя так, говорят они о другом, перекидываясь отсыревшими мякишами привычных слов.

Но, конечно, можно увидеть и иначе. Можно и без дождя. Только мыслится мне, что дождь там все ж таки был, а коли не был – так просто запоздал самую малость. Без него что-то хуже видно, а уж если столько лет спустя дождь мнится, значит, был он там, хоть я и не тот, кто знает наверняка.

Ну ладно, пусть я ошибаюсь, пусть лишнее сочиняю. Да вот думается мне, что коли опять он их обставил (Одинокий то есть), в дороге у них хватало времени, чтоб вспоминать. Так что не вспомнить про купленную в складчину кобылу они бы не сдюжили, выходит, гром и выстрел тоже припомнили, и сразу вспомнилась река, и увиделось снова, как слизывает водой Сосла-

нову пристройку и полхадзара, а потому ливень там все ж таки вроде и был, да ведь и ехали они – все вместе, вот чего нельзя забывать!

Ну а гадалось им плохо. Гадалось, да не угадывалось. И даже самым старым старикам старость не помогала, куда уж там молодым! И никакие годы тут мудрости не прибавляли, и думали они: это сейчас, а что потом будет? Что будет потом, когда уйдет из него мальчишка и останется только мужчина, взрастивший у них под боком непобедимое свое одиночество? И когда ночью у жаркого костра топили аракой они мутную мглу, на душе не делалось легче. А опорожнив последний бурдюк и сказав все тосты, что положено, возблагодарив богов и воздав хулу врагам (так и не осмелившись при этом произнести одно-единственное имя), сидели они долго в мерцающем от света тесном кругу и прислушивались к своим немеющим ногам да плутающим под ними голосам. Только никто из них того, что нужно, не услышал. И тягостней проталкивало сердце по толстым жилам их густую кровь. И никому из них не угадалось больше, чем сутки перед тем.

А утром время было медленней и гаже, измученное за ночь пьяными снами, колючим душным бредом и дикой жаждою. И полз червем обоз по тряской дороге. Полз до тех пор, пока тот, что впереди, не крикнул, и тогда они посмотрели туда, куда указывал им его палец. А потом они спешили и спустились вниз по тропе. И там, где бил из земли теплый источник, остановились и увидели перед собой мелко расколотые куски породы, цветные разводы по гальке и раскиданные в золе яичные скорлупки. А потом они щупали краску на гладких камнях, трогали пузырчатую воду и понимали еще меньше, чем час назад. И кто-то пытался скоблить краску ногтем, а кто-то отмывал ее в теплом источнике, а потом оба показывали другим, и другие качали головами да языками цокали от изумления. Как же так, думали они, и я слышу то, что должно быть сказано:

- Этот на небо похож, когда туч нету.
- А этот вот – на свежую кровь.
- Эти вместе сложить – издали за траву принять можно.
- Точно.
- Яйца он у меня покупал. Да и у тебя тоже, правда, Уари?
- Здесь в воде секрет, не в яйцах.
- Здесь во всем секрет. И в яйцах тоже.
- Выходит, он их сперва выкрасил. Сперва камни выкрасил и уж после в крепость вывез.

Разве нет?

- А пахнет чем? Дай, попробую... Противно пахнет.
- Не так, чтобы очень.
- А на что они, крашенные камни?

Слышно, как молчат. Потом робко:

- Мало ли!..
- Может, игра какая новая? – и опускают глаза, и только кто-то тычет носком сапога

в рыхлую породу.

- Смотрите, вот еще... Палка какая-то, – и все внимательно глядят, пробуют пальцами. –

На волос похоже.

- Волос и есть.
- Или щетина... Щетина, только почти вышла вся, чуть-чуть осталось.
- И в краске тоже. Вон и палка измазана.

– Малость шире стрелы. Раньше стрелы такие правили, длиннее только. Так ведь, Ханджери? – и они пристально, до рези в глазах, смотрят на палку, осколки и скорлупу. А потом один из них подымает с земли подгнивший бурдюк, держит на вытянутой руке. Держит, а другие вспоминают:

- Из тех, что в карты выиграл. Сам не гнал никогда.

– А Бог его знает! Может, когда и баловался.

– А ты хоть раз запах слышал? То-то! Он толком и рог-то держать не умеет.

– Ему просто не нужно.

– Что?

– Коли б нужда была, держал бы, небось, посноровистей многих. Только не любит он этого. Араку за версту обходит.

– По-твоему, бурдюк сюда сам прискакал? Или овца какая тут свой желудок сплюнула да дальше пошла?

Они в охотку смеются, разве что немного дольше, чем требуется на то, чтобы исцедить из глоток весь смех. А потому молчание приходит поздновато, и во рту от него приторно сразу и кисло, будто от переспелой ягоды кизила. И кто-то говорит, чтобы сплунуть тот вкус:

– Нет, тут нечисто что-то.

И кто-то другой отвечает:

– Угу, слишком краской заляпано.

Но больше смеха не слышно, и он понимает, что брякнул невпопад, и слышит:

– Веселись, если путного ничего придумать не горазд. Только он это получше твоего умеет – шутки шутить.

– Ладно спорить вам. А палочку ты с собой прихвати. Пригодиться может.

И никто из них, конечно, не знает, к чему, однако все охотно соглашаются:

– Да, не забыть бы.

– Ты в чехол спрячь. С ружьем-то вместе надежней – не потеряешь.

– Зря волнуешься: у него и за пазухой не пропадет, до сих пор пот с прошлогоднего сенокоса на груди прячет!

– Тут ты приврал. Последний раз он лет пятнадцать назад косу в руках держал, – и теперь они снова – хором и настойчиво – смеются, словно жажду про запас утоляют.

И в тот же вечер, на подступах к аулу, хлестнув плетью по лошадям, врываются они на истомившуюся в неведении улочку, врываются с гиканьем и шумом, даже не взглянув на ныхас, где сидит он вместе с выросшей своей тенью и озадаченно следит за их безумием. И пьянка в этот день блуждает от дома к дому, унижая криками ночь. А наутро он, Одинокий, опять находит на своем порожке миску, только уже с дерьмом.

И видят они, как он задумывается, хмуря невинные брови, смотрит, не оглядываясь по сторонам, сжав крепко губы, сжав до белизны, а потом, так ничего и не вымолвив, переступает через миску и, гордо вскинув голову, идет к ныхасу, но на полпути останавливается, колеблется лишь мгновение и тут же решительно поворачивает. И видят они, как запрягает он своего жеребца, что-то напевая себе под нос, вскакивает в седло и выезжает за ворота. А потом медленно, очень медленно, так медленно, что у них устают глаза, движется вверх по дороге.

И здесь уж не надо сочинять да угадывать, потому как отец мне про это рассказывал, и, думаю, без утайки, разве что ненароком кое-что подзабыл. Ну, например, не мог припомнить, кто ту миску тогда подложил, да ведь это не так уж и важно! Зато, говорил отец, никогда не видал прежде, чтоб можно было ползти верхом на лошади, тем паче на справном жеребце. И больно долго нам ждать пришлось, пока полз он, напевая, к ныхасу, потом полз мимо ныхаса, где одно только место и пустовало, где от тесноты даже беседа задышалась, будто нашими плечами придавленная. А потом, говорил отец, он голову повернул и внимательно оглядел всех, не переставая ползти, так что ползли за ним наши глаза, а как каждому взглядом лицо ощупал, улыбнулся и вежливо кивнул, поздоровавшись. А после, как улицу до конца прополз, развернулся и вспять двинулся. И так же медленно, как раньше, да вот нам, повторял отец, казалось, что гораздо медленней, только мы ошибались, потому что когда он до нижнего конца добрался, до дома Ахсара, и опять вверх пополз, поняли мы, что медленное едва только начинается. И, говорил отец, продолжалось это чуть ли не до самого обеда, и будь я неладен, если за все это

время успел он из конца в конец проползти больше дюжины раз; и, клянусь богами, твоему деду или даже самому Ханджери так медленно не управиться, заставь стариков поодиночке перетаскать в охапку к Ахсарову дому всех взрослых мужчин аула...

Так что к обеду, едва он снова вниз по дороге пополз, с нихаса всех словно ветром сдуло. А на следующий день никто из наших там так и не появился, лишь к середине дня Одинокого заметили, но и тот сидел недолго, видно, и у него терпению иногда роздых был нужен.

Ну а еще через день, когда к нихасу жидкой струйкой потянулись из своих дворов наши старцы, он их все ж таки поймал. И вот я думаю, говорил отец, сколько ж упрямства надо иметь, чтобы три дня кряду через дерьмо перешагивать и даже вроде его не замечать? И, главное, как упрямством своим людей можно доконать! Потому что, когда он их в тот день словил, всех вместе, думаю, что им самим полегчало: попробуй-ка столько ждать, пока он рот откроет! В конце концов, говорил отец, перешагнуть всегда проще, чем наблюдать, как перешагивают, особенно если сам подложил или кто из твоих знакомых, которых тот, что перешагивает, и за тебя ведь принять может.

Так что поймать их ему не составило никакого труда. И когда он сел меж ними и прочистил горло, думаю, у многих от сердца отлегло, потому что ожидание да угадывание кончались и теперь оставалось лишь выслушать, что у него на уме.

– Ну и дела, – сказал он. – Никогда б не подумал, – сказал. – Никогда б не подумал и не поверил, если б с кем другим приключилось. Только теперь, – сказал, – больше не сомневаюсь, хоть и странно оно все ж таки. Это ж надо, – сказал. – Вот не ожидал, что коли кто-то на пороге твоим что-то теряет, так потом вонять может. Неужто чужое завсегда смердит? Это, видать, нарочно богами устроено, чтоб на чужое глаза не разевать. Вы-то как думаете? – спросил. – Нарочно оно или случайно? Не знаете? Жалко. Вот и я сомневаюсь. Только завтра я в горы пойду, весь день меня дома не будет. Боюсь, как бы не пропало, а то хозяин вспомнит, хватится, а миски уж и нет. Хорошо бы сам забрал да к себе отнес. Вы передайте, а я денек еще, так и быть, перетерплю. Конечно, малость беспокойно на душе, – сказал. – Перед человеком неловко, – сказал. – Он ведь, может, без того, что в миске утерянной, и жить-то не умеет. Вы бы придумали что-нибудь, помогли бы, – сказал, – человеку. А не то придется самому все дела бросать да искать хозяина.хлопотное это дело. Да и перепутать не мудрено, другому может достаться, потом неприятностей не оберешься, – сказал. – Мне сегодня ночью отчего-то кровь снилась, – сказал. – Никак только не вспомню, чья... Как бы не кого из вас, – сказал. – Вспомню – скажу. А снова приснится – так и вспоминать ни к чему. Лишь бы к завтрашнему вечеру наверняка знать, – сказал. – Хотя, конечно, оно и не обязательно, если хозяин прежде найдется. Верно? Ну ладно, – сказал и поднялся, но после опять присел. – А ежели интересно кому – пусть приходит, мне не жалко, пусть приходит и проверяет, пусть нюхает, может, свой запах признает. Ага... Пусть. А покамест отдохайте, – сказал, – почтенные. Будем считать, что сговорились.

А потом встал и быстро к себе пошел, а на пороге, наши сверху видели, нос зажал да ловко переступил, исчез в дверях. И оставалось у наших достаточно времени, целые толстые сутки, чтобы молчать да обдумывать длинную речь его. И целые сутки на то, чтоб украдкой следить за его порогом.

Так они думали. Только немного маху дали и посреди ночи сбежались толпой на пожар: в низине у поворота горела грязная парусина, а под ней пылало несколько добрых охапок отборного сена. И, конечно, тогда они еще не поняли, зачем кому-то понадобилось жечь свое сено, ну а наутро миски там уже не было, и Одинокий объяснил:

– Вот и хорошо, – сказал. – Вот и славно, что хозяин нашелся. Правда, стеснительный оказался. Из-за какой-то миски полстога сена спалил. Зря. Мог не спешить. Мог до утра хотя б обождать. Чересчур стеснительный попался хозяин. Вот и сейчас молчит.

Но, конечно, молчали все, только кто-то один из них молчал куда основательнее. Так что, думаю, отец и впрямь наверняка не знал, чьих рук было дело, если только, понятно, сам в нем участия не принял. В общем, думаю, досада их взяла, что нашелся в ауле еще кто-то, у кого голова вполне сгодилась на то, чтобы провести их, всех вместе, пожертвовав при этом лишь горсткой сена да старой парусиной. Не так уж много ему потребовалось, чтоб их мозги перевесить.

Только кажется мне, что была там не одна лишь досада. Было еще и облегчение, и как-то с самого утра дышалось им легче, просторней. И теперь не нужно было вспоминать ничью длинную речь да размышлять о том, что за кровь кому снилась. Выходит, они вполне могли быть даже благодарны тому, кто струсил и из трусости исправил собственную глупость, отведя от всех беду. Но теперь души их были отравлены пуще прежнего, души их терзало сомнение, и быть потому стариками стало им куда как тяжело.

Понимаешь, говорил отец, трудно это – сомневаться, особенно когда почти вся жизнь – целая жизнь – твоя за плечами молчит, потому как подсказать тебе ничего толком не может... Ведь где это видано, чтобы досада с облегчением дружили, чтобы чужая трусость была мила всему аулу, чтобы прожитые годы так мало стоили и чтобы цену им назначали какой-то юнец да прохвост, того юнца испугавшийся? Где видано, чтобы так долго – невыносимо долго – никто из них ничего не понимал и даже не очень верил, что когда-нибудь ту загадку раскроет? Где видано, чтобы старикам не давала покоя какая-то бородастая палочка и чтобы украдкой друг от друга просили они того, кто ее сохранил: «Покажи-ка... Да, на стрелу смахивает... Но если ею мазал – дурак, значит! Зачем ему палкой по камням водить, когда их можно просто в краску, как луковицы в бульон, окунуть?.. Ладно, убери...» А у самих (видно это) в глотке сохнет от волнения. А тот, стервец, ни за что не скажет, только знай себе лелеет у них на глазах подлое свое одиночество.

И хуже всего, что каждый знает: украсть не мог, а потому нельзя и обвинить, хоть очень хочется. И вовсе не странно это их знание, пусть все когда-то и видели, как крали коней, лучших в ущелье, старшие его крови, а сам он в тот же день крал коня у самих воров, а после, попавшись, все-таки уцелел и вернулся сюда, на эту землю, чтобы заставить ее жить по-своему.

Так что где-нибудь умыкнуть жеребца он не мог, он мог его только купить, а значит, должен был раздобыть где-то хорошие деньги. Только вот ничего из того, что продается, в крепость он не возил, а потому, решили наши, продал нечто такое, что в самом ауле не больше воздуха ценится, да еще столько денег выручил, что принудил всех сначала копать, потом грузить, потом везти, потом краснеть, потом достать ружья, потом бежать, но с рассветом отсылать обратно одного из тех, кто упрямей безумствовал, а потом ждать и все больше надеяться, а еще позже проглотить разом надежду заодно с позором, разгрузить повозки и трястись поникшими потрохами по дороге домой, чтобы ночью упиться, а следующим полуднем глядеть в мутный теплый источник да на щетинистую палку, чувствуя тухлый дух смешавшихся запахов, ноздрями чуя в нем свою убогость и обреченность того, что почиталось за вечное, незыблемое, что было в пору всем, словно пастушья бурка, но с какого-то давнего теперь уже утра с каждым днем становилось теснее, пока совсем мало не сделалось. И было это удивительно тем сильнее, что каждый из них и в своих-то глазах не рос, а словно бы вроде мельчал, подгрызаемый изнутри то завистью, то алчностью, то местью, то сомнением. Но поскольку мельчали все вместе, делалось будто не так обидно, как если б в отдельности.

И, говорил отец, томленье уходило, поспешно уступая место вялой дреме смирения, так ведь всегда бывает, когда уж больше не вмоготу... Ну вот представь, говорил отец, представь себе, к примеру, что конь наш вбок ходить начал, а как положено – вмиг взял и разучился... Представь, что хлещешь ты его нагайкой, пятками колотишь, а он все по-своему скачет, хоть знаешь ты, что не бывает так... Не может быть такого, боком чтоб конь скакал, а спросишь у кого, так подтвердит – не может. Только ведь он, шайтан, считается с тем не хочет, что

не бывает оно так, нельзя ему боком... Представь, что смотришь ты на чудо это, видишь его своими трезвыми глазами, а все одно – не веришь. Кто ж в чепуху такую верить станет! То-то и оно... Да вот только делать тебе что?.. Ну, поборешься с ним, покуда из сил не выбьешься да плетку в лохмотья не изорвешь, а после – что?.. Вот и сдается мне, что как-нибудь свеженьким днем плюнешь ты на крепкое свое неверие да полезешь в сарай новое седло мастерить, чтоб с коня не валиться. А как смастеришь да пообвыкнешься боком скакать, охота тебе будет вспоминать, что не бывает так? И пусть, конечно, ты еще не веришь, пусть не поверишь никогда, только не хватит тебе причины, чтобы коня бросать. Не хватит причины, чтоб не смириться – да так, что коли шагом егопустишь, тебя еще он ловко укачает, так ловко, что рот в зевке едва не порвешь. И пусть вокруг все кони ходят, как оно нужно, лишь твой один такой, – зевнешь, и мысль тебе придет, что вот, мол, и руки ведь две, и левая, хоть ты отрежь ее и к туловищу прислони, правой никогда не станет. И даже не поймешь ты еще, причем здесь эта мысль, а – успокоишься. Не растревожишься, по крайней мере, к коню привыкшим неверием. Так вот. Не верь себе, сколько хочешь, и скачи себе, куда хочешь. Привычка сильнее чуда. Привычка любое чудо приручит. Вопрос лишь во времени. Так говорил отец.

И в самом деле, я прекрасно помню, как уходил он, Одинокий, чтобы помочь нам много лет спустя обуздать это его чудо, спрятанное надолго за пазуху общей памяти и отстаивающееся в ней, как в темноте волшебное вино. И даже сейчас его пить рановато. Может, и не рискну я. Может, и вам опасно рисковать, хоть вы моложе, да только это всякий за себя сам решает. Невольно тут нельзя: мигом в голову ударит.

А потому расскажу не спеша, подробно, по порядку.

К тому лету ему уж шестнадцать стукнуло или около того. Хорош собой он не был, так что заранее беду и не почувствовали. Да и кому могло на ум прийти, что чья-то дочь для сердца своего такую тропку сыщет? Кому на ум могло прийти, что ненависти их не хватит даже на то, чтобы ее наследовали – столь же непреложно, как и саму их кровь?.. И разве мог помыслить Сослан, что так его обманет им же сотворенная плоть!..

Не приведи Господь, говорил отец, не приведи Господь повториться такому ужасу. Они все видели с ныхаса. Они сидели там и слушали, как травит байки Сослан. Но Одинокого там не было, иначе бы ему не уцелеть, ведь он бы не смолчал, конечно. Он бы сразу рассказал. Только Одинокого там не было. Сослан же байки травил и первый сам смеялся. Они давно не помнили его таким веселым. И дед твой, говорил отец, сказал еще:

– Видно, кувд<sup>4</sup> для тебя покамест не кончился. Видно, ты его в одиночку продолжил.

И Сослан еще ответил:

– После такого зиу<sup>5</sup> можно весь год кувд вспоминать. Я просто вспоминаю.

А дед твой сказал (у него зубы болели, так что настроение было паршивое):

– Как бы и нам так вспомнить, чтоб от веселья пьяными казаться? Научи.

А Сослан, недолго думая, ответил:

– Дело нехитрое. Надо только прежде вспомнить, как на зиу трудился.

И все, говорил отец, рассмеялись, потому как дед твой на зиу Сослановом не был, зубами мучился, только нас, сыновей, послал. К тому дню как раз неделя пробежала с тех пор, как всем аулом Сослану и пристройку, и полхадзара заново справили. До того времянками перебивался. Ну, а на кувд, понятно, дед явился – и про зубы свои позабыл.

И вот теперь, говорил отец, греясь на солнышке, каждый из них благодушно посмеивался, ожидая, когда вернутся младшие с сенокоса. И когда они услышали крики и увидели бегущих к ныхасу женщин, к беде они были так же не готовы, как к внезапному снегу. Женщины голосили что есть мочи и бестолково махали руками, спотыкаясь и упрямо задирая головы

---

<sup>4</sup> Кувд (куьвд) – праздничное пиршество (осет.)

<sup>5</sup> Зиу – безвозмездный коллективный труд в помощь нуждающемуся (осет.)

к небу (так что дед твой потом настойчиво повторял, что сперва подумал: коршун). И тогда старики проследили глазами за жутким их отчаянием и увидели пятно, ползущее по скалам к утесу, и признали в том пятне сначала женщину, потом девушку, а после пятно превратилось в девчонку, и тут же дико вскричал кто-то рядом, и сразу, не отрывая глаз от скалы, сил не имея оглянуться, сообразили, что то Сослан был, и все вдруг смолкло на мгновение, утонуло, застопорилось, увязло в дыхании, а потом вместо крика услышали они сдавленное в его груди мычание, и было это страшнее, чем самый страшный вопль. А пятно на скале робко поползло ввысь, а толкавшиеся на дороге женщины, внимания не обращая на испуганно хнычущих детей, заголосили вновь, визгом разрывая Сосланово мычание. И видели они, как пятно дрогнуло и стало разом похоже на каплю, а после капля потекла вниз и зацепилась за выступ скалы, а после снова пришла тишина и быстро густела в ушах, пока капля боролась с зияющей под ней пустотой, а после капля сорвалась и стала падать, а когда разбилась о камни у реки, из глоток их вырвался стон...

Не приведи Господь, говорил отец. Я видел, как она там лежала. Когда ее поднимали, видно было, до чего она сделалась мягкая. Целой косточки не осталось. Твой дед говорил, что красивее девочки и во всем ущелье не нашлось бы. Все так говорили.

Одинокого до самых похорон не было, и все эти дни никто о нем и не вспомнил. И только когда ее уже на улицу отпевать вынесли, наши заметили его на дороге. В руках он что-то нес, а как ближе подошел, мы разглядели свернутую трубой холстину и то, что из нее торчало: две оструганные палки. И помню я еще, говорил отец, что концы их были землей испачканы. И когда он подходил, шаг его делался мельче, а на лице узелками морщин заплеталась тревога. А как сквозь плач ее имя расслышал, зашатался и рот распахнул, беспомощно воздух глотая. А после, так и не дойдя до нас, отвернулся и боком встал, и все головой мотал, будто не веря, все мотал головой и шатался. А мы уж только на него глядели, как он шатается и головой мотает. Ну а потом он и вовсе к нам спиной повернулся, на корточки присел и расстелил перед собой холстину. Только нам еще, говорил отец, было не разглядеть, и мы лишь видели, как, чуть привстав, ступней он ее прижал и начал палки срывать. А после, выпрямившись, все вертел ими перед грудью, словно не зная, куда их приткнуть, в конце концов так и не приткнул никуда, а просто в сторону отшвырнул и понес холстину в толпу, а толпа послушно расступалась, и глядел он поверх наших голов (или сквозь нас, сейчас я не помню). И, говорил отец, мы слышали его шаги, только их и слышали, выходит, даже причитания смолкли, хоть тогда никто того и не заметил. А как к телу подошел, отыскал глазами Сослана, кивнул ему и попросил:

– Хочу вместе с ней чтоб положили, – и тут только полностью холстину развернул, и наконец-то мы увидели, и было это так красиво, что мешало поймать какую-то важную мысль, и мы смотрели, став на цыпочки, и отгоняли эту мысль, и уж не знаю сколько времени смотрели бы так, запрещая себе о чем-либо думать, только он снова ее опустил и, перевернув, укрыл ею мертвое тело, оставив тем, что ближе, лицезреть изнанку. И тогда мы снова перевели взгляд на него и увидели, как стынут в горе его глаза и никак не могут оттуда выбраться, будто запутавшись в ее волосах, как внезапно дергает он головой и как стремительно вырывается из толпы, расталкивая нас руками. А как исчез он, несмело занялся, проснувшись, отпевальный плач, так что теперь мы могли и подумать. И рядом со мной стоял внук Агуза и сказал мне:

– Прямо как в жизни.

И я кивнул и ответил:

– Только лучше. А вода как живая.

И тот сказал:

– Выходит, к водопаду ходил. А бородатые палочки у него из мешочка торчали, я видел.

И я сказал:

– Теперь-то яснее ясного, на что они ему. Теперь-то ясно, что он в крепость возил.

И внук Агуза сказал:

– За такую красоту можно много чего купить. Скоро у него табун будет.

И я сказал:

– Нет. Не будет. Ему не нужен табун.

А тот спросил:

– Тогда что ему нужно?

И тут уж мы долго молчали.

А к вечеру, когда закончились поминки, на которых он, Одинокый, так и не появился, мы вдруг опять увидели его, вдрызг пьяного, слоняющегося из конца в конец по улице и играющего перед собой кинжалом. И, говорил отец, никто из нас бы не сказал «идет», никто бы не сказал и «движется», потому что было это слишком уж неточно. Он блуждал, будто потерявшись на единственной улочке единственной земли, что помнила его с рожденья и была единственной, способной перетерпеть замешанное на ней единство (дом, амбар, надел, загадка, конь) его одиночества. Он блуждал, но иногда останавливался и озирался по сторонам, ища, кого б задеть, но, никого не обнаружив на пустынной дороге, горько сплевывал, грозил в сумерки пальцем и кричал:

– Вы ничего не знаете!.. Сидите в норах и не знаете ни-че-го!.. Потому и прячетесь, что узнать боитесь!..

А потом ковылял дальше, и, говорил отец, пьянее человека я в жизни не видал. Был он пьян весь, пьян насквозь, пьян до изнеможения, пьян от обиды, что так и не сумел упитаться до бесчувствия.

А наутро, еще не протрезвев, он вышел со двора и в горы направился, и глядели наши, как, поминутно останавливаясь, прикидывает он жадным ртом к бурдюку, как все сильнее заплетаются ноги, и хмуро ждали, когда он рухнет в пыль, подкошенный испитой аракой. И ждать им пришлось порядочно, хотя и не слишком. И видели они, как одолевал он улицу, мост, первый из подъемов и несколько пядей тропы, как вскидывал руки, расплескивая араку, как устало валился набок, не выпуская из пальцев бурдюк, как замер у обрыва и больше уж не двигался. А потом старшие велели его принести, и мы пошли, и вернули его пустым по-прежнему стенам, уложив на грубые циновки в хадзаре.

Только на следующий день он опять туда пошел, все так же, с бурдюком, да вот прикладывался к нему гораздо реже. И, говорил отец, ни для кого секретом не было, зачем он туда лезет. Однако истинной причины тогда еще не знали, и первым узнать суждено было мне, твоему отцу, только позже. А тогда, конечно, никто себя не спрашивал, зачем он это делает, и уже перестали спрашивать, зачем это делала она. Вот в чем была ошибка! И потому лишь глядели да гадали: сможет или нет? И видели, как туго идет дело, как тяжело одолевает он тропу, как выбирается к скалам, как надолго теряется там из виду и появляется вновь, как перекидывает на спину бурдюк и принимается ползти по каменной гряде, как жарится над ним желтое солнце, и смотреть на то, как он ползет, оказывается задачей не из легких, потому что иногда нам вовсе не понять, ползет он или нет, ибо быстрее него ползет даже солнце, сдвигаясь по небу к вершине. Только – ползет он или нет, а – до утеса остается все меньше. И вот он уже проползает то самое место, и у многих из нас бежит по пальцам дрожь, и мы оглядываемся невольно, но вспоминаем с облегчением: Сослан сегодня из дому не выходил, – а потом снова напряженно следим и, быть может, впервые в жизни желаем победы тому, кто, вообще-то, и не умел никогда проигрывать, кому на все про все хватает двух попыток, и эта вот – вторая.

А когда он все ж таки побеждает и поднимается во весь рост на утесе, кое у кого блестят от влаги глаза, и это видно даже при закате, который покорил он только что, прочно впечатав в него свою тень. И лишь теперь мы вспоминаем, что голодны, что проторчали здесь целый день напролет, и чувствуем, как затекли у нас шеи. Но напоследок, прежде чем расстаться, видим в закатном огне, как четко скроенный силуэт, слегка отвернув голову, что-то к ней приставляет и держит перед собой на вытянутой руке. Видим, как потом осторожно садится, свесив ноги

с утеса, и некоторое время сидит без движения, а после опять припадает к бурдюку, и сил глядеть на то, как спаивает он неистребимое свое одиночество, больше нет, потому что все уже просто устали – целый день следить за тем, как доказывало оно себе собственное бессмертие...

Но тогда, повторял отец, мы еще не ведали, причем тут утес. И только спустя восемь месяцев узнал про то я, и к тому времени могли бы и другие догадаться – все, кроме Сослана, ибо тот тогда уже почти ослеп. И глаза его, увидевшие такое, чего не приведи Господь увидеть даже врагу, впустили в себя болезнь и покрылись белым туманом. И, говорил отец, туман густел в них толстыми бельмами, застя солнечный свет и безжалостное время, запирая его, Сослана, в вечном холоде зрячей памяти. Так что он был единственный, кто до конца осознать не мог. И было это к лучшему...

А по весне, говорил отец, как распутица кончилась, дед твой снова придумал, как разбогатеть. Только теперь, конечно, он и не собирался тягаться с Одиноким. Кое-что другое на ум ему пришло.

Раз как-то подозвал меня и говорит:

– Сходи к Урузмагу в кузницу. Просто стой там и смотри, а после придешь и скажешь, что интересного увидел.

И, конечно, сперва не понял я, зачем ему понадобилось на Урузмагову кузницу моими глазами смотреть, только ведь и спрашивать не положено.

Ладно, сходил, постоял с другими, поглядел, как Урузмаг Маирбеку лемех чинит, как ножницы правит, запомнил, как по стенам железные крючья висят, подковы да очажные щипцы. На всякий случай сосчитал, сколько народу праздно стоит и глазеет, как в хадзар вернулся – пересказал подробно все, а дед твой слушал и довольно головой кивал. А потом прищурился и спросил:

– Только и всего? Маловато. Иди еще смотри.

И я пошел, и на этот раз задержался подоле, и сосчитал уже не только людей, не только крючья и подковы, но даже штыри, на которых они висели, и штырей оказалось ровно столько, сколько крючьев и подков, да только это было с самого начала ясно. А как вернулся, дед твой уже посмеивался, слушая, что я ему рассказываю, и ласково колени свои поглаживал. А потом лукаво так спрашивает:

– Неужто все? Неужто ничего интересного? Иди проверь, да будь внимательней!

Так что теперь, сам понимаешь, терпенье мое лопнуло, а от обиды в суставах заныло, и в мозгу моем пронеслось: старик свою хитрость тешит. Ну хорошо, пусть его, только и я ведь могу часок-другой потешиться, а для того его хитрости на нас двоих с лихвой хватит. Так что вышел я со двора вроде бы совсем послушный, но вот двинулся немного не туда. И, видит Бог, сидя на бережку и камушками играя, тешился от всего сердца, представляя себе, как тешится в доме твой дед, а после вздремнул чуток, давая ему время всласть натешиться, ну а потом, дождавшись вечера, подождал еще малость, покуда он тешиться не устанет, и еще немного, чтобы отбить у него охоту тешиться за чужой счет. Ну а когда и сам притомился тешиться, поднялся и отправился к натешившемуся до злобы старику. И он сердито бросил мне:

– Ну? Насмотрелся?

И я ответил, что вдоволь. А он спросил про интересное и я пожал плечами:

– Будто бы ничего, а завораживает. Чем чаще смотришь, тем интереснее. Особенно в последний раз. Глаз не мог оторвать.

А он смотрел на меня так пристально, словно заподозрил что-то. И было мне глядеть на это одно удовольствие. И он сказал:

– Дурак.

А я даже взгляда не отвел, так было приятно смотреть. И он сказал:

– Видно, чем интереснее тебе делается, тем охотней твои мозги засыпают.

И я пожал плечами. И он сказал:

– Уходил ты умнее, чем вернулся. Не знаю, стоит ли тебя теперь дальше пастбища посылать. Сомневаюсь что-то.

И тут я понял, что черед мой снова перебит и что у старика всегда есть про запас, чему потешиться. Так что пришлось мне крепко подумать и сказать:

– Это, пожалуй, от жара. Жар в голову ударяет. Потому как постоял я вот тут немного, поостыл, а уж и вспомнить не могу, что меня там заворожило. Кузня как кузня. Ничего особенного.

А он будто и внимания на слова мои не обратил, откинулся спиной назад, к стене прислонился и веки опустил. И я сказал:

– В дороге оно, конечно, занятней. И воздух здоровый. Никакого тебе жара, чтоб мозги плавил. Дорогу с кузней и сравнить нельзя.

А дед твой тихо так, одними губами:

– Тебе и не придется. Брата своего позови.

– Зачем же брата, – говорю, – я и сам могу. Да и проветриться мне после кузни не мешает.

И теперь пришлось с полчаса сторожить, пока хитрость его глаза не откроет и не спросит:

– Выходит, ошибся? Выходит, мало там интересного?

И, конечно, я кивнул и поспешно ответил:

– Так получается. По правде если, так от скуки завывать можно.

А дед твой весело крякнул и сказал:

– Долго же ты остываешь.

И я подумал про себя: небось, срок не я устанавливаю. Кабы я устанавливал, уже б давно в пути был.

А с рассветом приказал он мне в повозку коня запрячь и ехать в крепость, а в крепости отыскать скобяную лавку, и найти в ней хозяина, и пригласить хозяина к нам в дом, а когда откажется, просить разрешения пригласить его помощника, и вместе с помощником загрузить в повозку всякой утвари сколько влезет, и сказать хозяину, что цена пусть будет любая, только каждая копейка с десяти полученных – наша, так же как и каждый десятый рубль, и что пусть помощник живет в нашем доме сколько понадобится и ни о чем не беспокоится, кроме как без задержки отсчитать с каждого рубля по гривеннику и тут же, дабы ненароком не забыть, отдать кому следует, и даже не беспокоится, когда разойдется товар, а только напишет бумажку хозяину и отправит в крепость меня или брата, и что, коли придет нужда, торговать можно и в другом месте, повозка наша вполне для того сгодится, а аулов в горах – все равно что домов в крепости, и в каждом ауле хадзаров не меньше, чем пальцев на руках, а в хадзаре в любом всегда найдется, что за покупку отдать, значит, найдется и десятая часть, выходит, что обоим выгода, и даже тем, что в ауле...

И, говорил отец, пока я в крепость ехал, все прикидывал так и эдак, но изъяна все ж таки не нашел в его задумке. Вроде дело и впрямь для всех сторон бесприигрышным выходило, как если бы, скажем, я тогда, у реки, камушками играя, тешился ровно столько, сколько в охотку было тешиться старику в хадзаре, ни мгновеньем дольше, а обоюдная хитрость наша, не взбаламученная злорадством, тихая наша, сладкая хитрость удобрила бы вкусный этот ломоть надвое разрезанного времени тонкой приправой. Как если бы видел все это кто третий, кто только и смог бы насладиться зрелищем в полной мере, кто получил бы удовольствия поболее нашего, при этом вовсе никого и не обжулив. А потому думал я, кто больше видит – больше и выигрывает. Яснее ясного. И дорога слишком короткой оказалась, чтоб усомниться в том.

А в крепости (тогда уж она городом звалась, но крепость – привычней на уста ложилось), не очень поспешая, разглядывал я лавки разные и магазины к нашему аулу примерял, и получалось, что скобяная утварь – лишь начало, и коли дело выгорит, можно и с другими столкнуться, отчего не столкнуться, если всем кругом сплошная выгода?

В лавке скобяной дожидаться пришлось, покуда покупатели не разойдутся, при народе по-русски заговорить – все равно что донага раздеться. Так что стоял я там, в уголке, гвозди перебирая и горлом слова чужие ворочая, чтоб когда вслух – легче с языка скатились. Ну и, конечно, пасовал немного, робел, хотя глаза, казалось, всю лавку туда-сюда мельком обегали, да вот приюта никак не находили. Немудрено оно, особенно если с Урузмаговой кузней сравнивать. Еще, как назло, одни уйдут, дух не успею перевести – другие тут как тут. И так лихо с продавцом переговариваются, что меня в жар бросает. Я уж гвозди эти, поди, раз по десять каждый перещупал, а тот, за прилавком, недобро коситься стал, вот я и сделал шаг-второй к середине, помню, передо мной теперь петли дверные лежали да защелки блестящие. А потом, с минуту перетерпев, глаза я на него вскинул, в грудь воздуха набрал, но, не начав даже, запнулся, потому как над ним, над мелкими стекляшками его, что на нос приклеил, над самой головой увидел то, что помнил всю жизнь, что знал с младенчества, что никто никогда и никуда не мог бы унести с собой, имей он хоть обоз золота, что никто никогда не мог бы увидеть так ярко и полно, имей пусть сто глаз, а не серые стекляшки на носу, не мог бы рассказать об этом здесь так достоверно и целиком, знай он русский даже лучше самого царя...

И пока глядел я на чудо это, пока бормотал что-то сухими губами, пока пытался еще не поверить, отмахнуться от него, как от наваждения, пока лишь только беду предчувствовал, но не осознал, пока не пускал к ней мысли свои – все тыкал в него пальцем, забыв десяток слов, какие загодя набрал в дороге из тощей памяти зааульной жизни. И, понятно, не сразу услышал и тем паче не сразу продрался к смыслу того, что настойчиво стучалось в мой слух его криком.

– Не продается! – уже почти вопил он мне, согнувшись над прилавком. – Нет! Нет! Не продается! Нет! Ну что за бестолочь такая! Нет! Дурья башка... Это не товар! Не это товар! Товар – вот!..

И он, схватив в горсть обеими ладонями, брызгал перед грудью металлическим блеском защелок. А я, по-прежнему ограбленный прекрасным, страшным виденьем, душившимся красками мне глотку с невысокой (слишком низкой для него, это тоже с толку сбивало, чудовищно низкой: все одно что целую руку вдруг в ногте уместили) стены, никак не вспоминал, никак не мог спросить и защищался единственным звуком, который тот, в очках, не признавал за слово, продолжая сыпать белые искры в объемистый ящик с гремящей утварью.

– Не надрывайся ты... Он спрашивает – когда?

И тут я увидел мужчину в ихней одежде, с их взглядом, их руками. Он медленно сложил их за спиной и спросил меня по-нашему, но русским голосом:

– Ты хочешь знать, когда она была куплена?

И я, измученный потной, безысходной борьбой – борьбой с защелками да стекляшками, – благодарно закивал, не решаясь ответить.

– Зачем тебе? – спросил он и долго ждал ответа, глядя, как я жалко улыбаюсь и пожимаю судорожными плечами.

– Впрочем, какая разница! Не хочешь – не говори, – сказал он, и я опять перестал понимать, так что ему пришлось перевести и медленно (еще медленней, чем складывал руки за спиной) повторить на нашем языке. И получалось, что ответа он все-таки хочет, потому как дальше замолчал. И я сказал:

– Это место. Я его знаю.

– Красивое место, – согласился он, а я уж понял про себя – хозяин. И вспомнил твоего деда, загорелся кожей и произнес:

– Очень. Очень красивое. Оно ждет тебя.

Он вскинул брови:

– Меня?

– Да, – сказал я и приложил к сердцу ладонь. – Будь нашим гостем.

А он, переждав немного – видно, мысленно на русский переводил, – откинул дверцу прилавка, подошел ко мне и спросил с любопытством:

– Где это?

– Два дня, – ответил я. – Путь хоть и трудный, но не слишком. Обычный путь. Я сам повезу.

– Твоя повозка? – указал он во двор, указал одним подбородком. – Ты ехал в такую даль, чтобы просить меня быть вашим гостем?

И я кивнул. А он еще больше приблизился ко мне и осмотрел с ног до головы, а я стоял, прямой и стылый, как бревно на морозе, как столб посреди лавки, окруженный покупателями, стиснутый жадным их дыханием, и чувствовал себя бревном, и, видит Бог, жалел это бревно, и следил, как примеривается он ко мне – бревну, словно прикидывая, в какой точке начать пилить.

– Это он прислал тебя?

И я, конечно, понял, что это вопрос, и, конечно, понял, что ко мне, но разрази меня гром, если я понял, в какой такой точке он стал пилить. И я молчал столько, сколько выдержал, но вовсе не придумал, чего ему нужно, а потому снова кивнул, ибо ответить отрицательно показалось неприличным, казалось неправильным, опрометчивым, и могло – вот что казалось! – разрушить с таким трудом лепившийся разговор.

– Да, – сказал я. – Да, – мой отец.

И теперь получалось, что прилично и вежливо, но и что правда – тоже.

– Он не может быть тебе отцом, ведь он почти мальчишка.

И я подумал: вот оно что. Вот он о ком. И подумал: для тебя мальчишка, а для нас, похоже, никогда им и не был. И оставалось еще придумать, что сказать ему вслух – озадаченному хозяину лавки, хозяину картины, хозяину нашего будущего – так, чтоб не запнулся разговор и чтобы легче было потом не замечать его чужого голоса, трогающего наши слова.

И я сказал:

– Он сосед мой. Но то – отец прислал. Хочет дело тебе предложить, а картина ни при чем. Просто удивился я, до чего все настоящее... А так, кто не знает его, для тех – мальчишка...

И теперь мне вроде как полегчало, потому что его пора настала мучиться тем, что бы такое придумать в ответ, и уже ему, а не мне, помогли пальцы, блуждающие в ящике с утварью, а когда помогли и остановились, он сказал:

– Я ведь могу отказаться. Что тогда?

– Тогда – твой помощник. Не беда, что языка не знает. Ему и не надо знать.

И он спросил:

– Вот как?

И я ответил:

– Да. Главное – всем выгода. И тем, кто в ауле – тоже.

А он усмехнулся и повторил:

– Вот как?

Потом повернулся к тому, со стекляшками, и что-то быстро и длинно говорил ему на остром их языке, а тот все поддакивал и гаденько так хихикал. И я, глядя на них, впивался ладонями в ножны, передавая им с влажным теплом свою злость, и, заперев ее там, в кинжале и ножнах, изо всех сил не пускал наружу, а те, болтуны, ее даже не замечали, и будто не замечали меня, это совсем уж сбивало с толку, так что не пускать злость наружу через минуту стало мне проще, а им стало проще спасти свои жизни, за которые они даже не беспокоились, весело перебрасываясь хлопьями беззаботного смеха и, казалось, вовсе не помышляя нанести обиду. И когда кончили, злости осталась лишь малость, чуть-чуть, и я стер эту малость полкой черкески с рукояти и ножен.

– Послушай, – сказал он. – Все это очень забавно. Сперва ты едешь двое суток по горной дороге сюда, чтобы пригласить меня в свой дом, потом замечаешь эту картину и забываешь обо всем остальном, потом, завидев меня, вспоминаешь, для чего приехал, но тут же соглашаешься поменять себе гостя, едва я уклоняюсь от приглашения... Забавно! Скажи, а что ты сделаешь, если откажется и он, мой помощник? Пригласишь любого из них?

Тут он показывает на толпу покупателей, которые уже, по сути, перестали ими быть и превратились в слушателей да наблюдателей, открыв лица любопытству, испортив им и свои лица, и наш разговор.

– Нет, – отвечаю. – Не откажется. А откажется – ты его заставишь.

А он опять руки за спину сложил и гордо так на меня посмотрел, и улыбка была уже другая, неприятная улыбка. И говорил теперь еще медленней, тщательней прежнего:

– Тогда скажи, кто заставит меня заставить его отказаться? Ты?

– Нет, – говорю. – Не я. Ты сам захочешь. Тебя заставит выгода.

И после уж смеха не было, долго вообще ничего не было, пока он снова не откинул дверцу, не взял меня за локоть и не повел в крохотную комнатку за прилавком. А потом мы оба сели, и я ему наконец пересказал слово в слово то, что наказал мне твой дед, и он, поразмыслив, просил меня обождать, и самолично принес два горячих стакана, насыпал в них белого порошку и размешал, и пока думал да отхлебывал, я отхлебывал из своего вслед за ним, и тогда не знал еще, что это чай, и не знал, что то был сахар, а он все думал, пока пил, а как сделал последний глоток, принялся вертеть стакан в пальцах, а потом надавил сверху ладонью и, словно хотел на прочность проверить, впечатал его в стол. Вскочил и что-то крикнул по-русски, а потом в каком-то странном возбуждении протянул мне обе руки, и я понял: столкнулись.

И он спросил про ружье, и я ответил, что есть, и он спросил – какое, и я подробно описал, как действует и как устроено, а он поцокал языком и отрицательно замотал головой, потом вышел из-за стола и направился к небольшому шкафу в углу, достал оттуда что-то и мне показал:

– Револьвер.

И я попросил перевести, но он повторил еще раз то же самое: револьвер, и после объяснил, как с ним управляться. И я сказал, что здорово, и он назвал цену, и я сказал: ого! – не слишком огорчаясь. А он опять покачал головой и сказал:

– Ты не понял. Ты должен купить его.

И я ответил:

– Не могу. У меня нет таких денег. У меня есть ружье.

– С твоим ружьем, – сказал он, – можно разве что на войну с гусями пойти – и то не вернуться. Тебе револьвер нужен.

А я сказал:

– Потом как-нибудь, когда разбогатею. А на охоту и с моим ружьем ходить неплохо. Я привык.

И он сказал:

– Тогда не выйдет ничего. Подкопишь денег – снова поговорим.

И я спросил:

– Ты не поедешь?

И он ответил, что нет, ни он, ни его помощник.

И тогда я понял и сказал:

– Абреков боишься.

И он не спорил:

– Жадности людской боюсь.

И я сказал:

– Стало быть, от выгоды отказываешься.

А он развел руками:

– Выгода – это когда своя жадность чужую одолевает. Но когда наоборот – то глупость уже, безрассудство. Все просто. Прежде чем товар продать, его сохранить надобно. А чтоб сохранить, нужно не от одной ржавчины защитить, еще и от жадности чужой. Купишь револьвер – поговорим.

И тогда я подумал и сказал:

– Ты же сперва согласился. Выходит, доверял? Поверь и в другом. Дай мне его задаром. А после, коли дело быстро двинется, я его выкуплю. Честное слово.

И он опять засмеялся, и снова весело, беззаботно так, словно я пошутил, только я ведь совсем не шутил. И он спросил:

– Хочешь еще чаю?

И когда мы опять прихлебывали из своих стаканов, сидя друг против друга, он сказал мне:

– Риск. Все дело в риске. Будь у тебя свой револьвер, я рисковал бы целой повозкой утвари да жизнью помощника. А дай я тебе его, револьвер, бесплатно, я рисковал бы уже оказаться ослом.

И я отпил глоток и сказал:

– Понятно. Все равно что конокраду плетку дарить, а после глядеть, как он ею твою лошадь погоняет. Ты это хотел объяснить? Только я ведь не конокрад.

– Верно, – улыбнулся он. – И я не осел. Да ты не обижайся. Лучше купи револьвер.

И я спросил его:

– Скажи, а разве не может с ним управляться помощник твой?

– Может, – сказал он. – Да у него есть свой.

– Зачем же тогда, – говорю, – еще один?

– А зачем ты сам моему помощнику?

– Как зачем? – говорю. – Я же там не чужак. Все ущелье пешком исходил, верхом изъездил.

– Вот-вот, – отвечает, – не чужак. Потому-то наверняка будешь знать, когда стрелять нужно, а когда револьвер за пазухой прятать... Да и потом — два револьвера лучше, чем один. Так?

И я сказал:

– Все правильно. Только нехорошо как-то.

А он сказал:

– Конечно, нехорошо. Быть может, потому и правильно, что нехорошо.

И я задумался, и он молчал, и думал я про твоего деда и про то, что нынче уж ему не придется тешиться, и что вместо того нужно будет ему решать, что такого еще проиграть, прежде чем приобрести себе эту штуку, а заодно с ней – и право на выигрыш, который тогда только выигрышем станет, когда оплатит новую эту потерю и вдобавок что-то еще, возможно, новое знание о правильном или же знание старое, но впервые узаконенное вслух за чашкой чая человеком, никогда не видевшим наших мест воочию, но успевшим купить и повесить на стену их красоту, успевшим раньше еще, чем дед твой определил его в хозяева нашего будущего, только насколько раньше, я не знал и потому спросил, когда он ее купил, и он ответил:

– Прошлым летом. Их две было. Эта мне больше приглянулась. И обе – в человеческий рост. Как раз для наших низких стен.

И я поправил:

– Чуть меньше.

И он согласился:

– Пожалуй.

– Скорее, в высоту среднего подростка или девушки. А на второй водопад был.

– Точно, – сказал он.

– И вода как живая, – сказал я.

– Верно, – ответил он. – Способный паренек.

Ну а я ничего не ответил, только чай свой допил и отставил в сторонку стакан, а когда поднялся, он снова коснулся моего локтя и сказал:

– Послушай, кажется, я придумал. Одной картины будет вполне достаточно. Не так, чтобы она мне очень уж пригодилась, ну да ладно... Договорись с ним по-соседски – и револьвер твой.

И я покачал головой:

– Ее больше нет.

– Жалко, – сказал он.

– Жалко, – подтвердил я, попрощался и вышел. И, конечно, еще разок, прежде чем оттуда убраться, на стену взглянул.

И пока домой ехал, все про утес нарисованный думал, про лань, что на нем царила, про жуткую смерть, что видели чуть ли не все в нашем ауле, но никак помешать ей не могли, про Одинокого и любовь его, которой и вовсе не предвидели и разделить которую удалось лишь несчастной девчонке, да и то – ценой собственной гибели, про цену бедности, что не в силах купить себе револьвер, и про цену револьвера, что оказался дороже всеобщей выгоды, про удачу и дикие деньги на то, чтоб ее обрести, про знание, что ведает, как разбогатеть, но не знает, как перед тем отделаться от нищеты своей, про старика, что за длинные бедные годы свои выучился придумывать такое, что не приходило в голову никому до того, но так и не сумевшего заработать на своих выдумках ничего, кроме вечной надежды, и про молодого, что, казалось, и шагу не ступил за пределы своего одиночества, но нашел в них, в этих пределах, куда больше, чем дед твой в бодрой своей находчивости. И думал про то, как несчастливы они оба, и про то, что несчастливость первого (старика) вроде как предпочтительнее несчастливости второго, потому что тот, второй, несчастлив даже своей удачливостью, которой, похоже, никогда не искал, которая дана была ему свыше все равно как проклятье – или благословенье, тут уж не разобрать, – и благословенное это проклятье не пустило его умереть тогда даже, когда он всю старался, тогда, когда было это правильнее всего, настолько правильно (так теперь думал я, и мысль была как озаренье), что вошло бы в легенду, примирив ее с нашей памятью – о нем и о наших ему поражениях – в прекрасную легенду о прекрасной любви, навсегда освятив утес и его непокоренность, освятив и трепетное наше послушание утесовой непокоренности, словно свидетельству таинственной кары небесной, что оставляет земным лишь земное, а все другое забирает в легенду. Но провидение решило иначе...

Провидение решило иначе, потому что никакой такой любви там не было, а если и была – так лишь наполовину. Я о том первым узнал, говорил отец. Первый среди наших...

Дед твой, конечно, ни разу меня не прервал, пока я все пересказывал, и только лицом своим мучился, которое старше сделалось, бледнее (старше да бледнее цепи над очагом), тем мучился, что спрятать лица не может, хоть я ему помогал, как умел, почти на него не взглядывая. Потом сказал мне только, чтоб в дом отдыхать шел, а сам во дворе продолжал сидеть, в сумерках тая. А как растаял, в хадзар вернулся и долго после еще ворочался, сон поджидая. Так долго, что я уже почти успел раздумать. Но когда храп услышал, поднялся все же и выскользнул наружу, через забор перемахнул, к двери подкрался и позвал, тихо-тихо, а в душе, честно скажу, сомнение бродило, и коли тот не отозвался бы, ни за что вторично пытаться б не стал.

Но только он услышал и открыл, да и как было не услышать, если последний гость сюда еще к ворах заглядывал, к тем, к конокрадам, а к нему лишь по делу обращались, да и то – все больше в амбар входили, а точнее – вносили туда мешки, в хадзар же вносили разве что

бесчувственное от пьянки тело, задерживаясь здесь не дольше, чем требовалось на то, чтобы уложить его на худые циновки да медвежьей шкурой прикрыть. Так что и гостем я будто бы первым был, только он совсем даже не удивился: сил удивиться не было, настолько был пьян. Пробормотал:

– Входи, – и внутрь ввалился, но на ногах устоял.

Потом, сидя за пустым фынгом<sup>6</sup>, следил я, как шарит он ногой по полу у постели, пытаюсь нащупать бурдюк, как, пошатнувшись, поднимает его и несет, осторожно обхватив обеими руками, к столу, как подсыпает огня в очаг, а после долго копается в походном хурджине<sup>7</sup> в поисках закуски, но не находит ничего, кроме куска стылого мяса величиной с кулак да ветхой корки чурека, как размышляет, не слишком ли стыдно их предложить, потом все же решается и кладет в центр фынга, как достает из темного угла рог, берет бурдюк и вынимает затычку зубами, а после старательно наполняет рог аракой, не расплескав при этом ни капли и удовлетворенно потряхнув головой, протягивает рог мне. И я, прежде чем выпить, произношу тост – полдюжины слов, без которых не обойтись ни на каком застолье, даже таком вот убогом и тягостном, где хозяин сам лыка не вяжет, а гость еще настолько трезв, что уж и пить не хочет – а потом сквозь проступившую на глазах влагу гляжу, как принимает он рог, наполняет его до краев, поднимает руку и говорит, и слышу я, как с уст его свисает мешанина звуков (сырая лепешка из голоса, обычая и долга перед ним, как если бы слова споткнулись в темноте о зубы и, рвясь на волю, завязли в иле языка), и я уже жалею, что пришел, и думаю о том, что голос его пьян от одного лишь вида рога сделался, что ж будет, когда он уничтожит содержимое; и делает он это – уничтожает содержимое – так медленно, как ползать умеет на своем жеребце мимо ныхаса, примерно так же, но опорожняет до конца, а после, глядя мне в лицо, ищет меня мутными зрачками, и скоро найти ему удастся – меня во мне, – и от такой удачи он ухмыляется, плавно разведя руками, описывает изящный полукруг и возвращает их на место, на колени. А табуретка под ним – я замечаю лишь сейчас – будто облезлое бревно на тройке сучьев, и сам сижу я на опрокинутом корявом жбане, но фынг сработан ладно, резной, и света здесь достаточно, чтобы я понял: для табурета красоту еще не подобрал, видно, еще узора не придумал. А на стене и нет ничего, кроме старого ружья – того, что стоит ему вместе с циновками семь восьмых с урожая вот уже полдюжины лет (да, говорит отец, его это вполне устраивало, и каждый сезон, пересчитав в амбаре доверху набитые мешки, он окликал твоего деда – всегда одинаково: «Следующий не хуже уродится, как полагаешь? Уж ты постарайся. Приходи через год»). И дед твой согласно кивал с облегчением, словно похвале алдара<sup>8</sup> – умелый работник), – ничего, кроме дряхлого ружья ценою в полдюжины теперь уж урожаев с его надела да в наше батрачество, купленное им, Одиноким, на наше же ружье полдюжины раз подряд; и ничего, кроме нескольких турьих шкур; кроме полок пустых, без всякой посуды. Вся посуда тут, на столе, и пара мисок – у постели.

– Ешь, – приказывает он. – Утощайся.

И режет мясо кинжалом, и я отщипываю от чурека, и вкус ничуть не лучше запаха перегара, которым я был встречен. И, выливая в рог остатки араки (я слышу капли, сменившие струю, и думаю злорадно: так-то лучше), он досадливо морщится:

– Не хватит.

А я не отвечаю, и он упрямо повторяет:

– Мне не хватит. Может, раздобудешь у себя?

– Нет, – говорю. Не сейчас. Я не затем пришел.

---

<sup>6</sup> *Фынг* – круглый столик на трех ножках (*осет.*)

<sup>7</sup> *Хурджин* – переметная сума.

<sup>8</sup> *Алдар* – владетель, господин, хозяин, князь, помещик.

А он все хлопает глазами, и видно, как упорно хочет разбудить свой голос. Но я уже не верю, что получится, и говорю:

– Пожалуй, малость опоздал я.

А он плечами пожимает и чурек жует. А прожевав, говорит, и я перевожу это в слова:

– Ладно. Как скажешь. Я не задерживаю.

И я встаю и направляюсь к выходу, и слышу вслед:

– Ты пожалеешь.

Он стоит уже и даже не шатается.

– Ты больше не придешь. Не сможешь...

Но только он ошибается, и через час я возвращаюсь, я почти бегу и не задерживаюсь больше на пороге – нет времени: мне надо поспеть до рассвета, – и торможу обмякшее тело, схватив его за грудки, давлю подступающую к глотке тошноту от невыносимого перегарного духа, и начинаю шепотом, но очень скоро едва не срываюсь на крик и повторяю в тупое, отекающее от сна лицо:

– Я был там!.. Я видел... Я знаю!.. – повторяю до тех пор, пока не искажается оно от боли, пока не приподымаются веки. Тогда бегу я к очагу и ворошу под золой непослушные угли, а после снова трясусь за грудки и шепчу (а может, кричу, а может, прошу, умоляю): — Сперва ты рисовал утес... Потом придумал лань. Я знаю!.. Ты увидел девчонку и нарисовал на утесе лань... И прятал ото всех, но как-то раз не выдержал, подстерег ее, и показал... Просто развернул и показал. Ведь больше ничего не нужно было! И даже слов. Она бы и так поняла. Но ты сказал ей, кто такая лань. Ведь ты сказал ей?.. И отравил ее своей любовью, но испугался в то поверить и сбежал в крепость, чтобы продать там этот страх – страх за свое одиночество... или страх за то, что не сможешь его обменять, ты же знал, что Сослан не позволит!.. Ты струсил, но не сознался в том себе!.. Ты струсил впервые, а потому испугался еще и своей трусости и решил положиться на случай, и взял с собой в крепость еще и другую – ту, с водопадом, – и предоставил право выбора судьбе, и судьба (какой-то чертов лавочник, никогда до того и не слыхавший про наши края, но купивший скопом их красоту заодно со страхом твоим) выбрала лань на утесе, но только ты и представить себе не мог, что выбирает она разом в двух местах!.. Ты не мог и представить, что судьба – это не только лавочник, это еще и девчонка, поверившая в то, что она лань, желавшая тебе доказать, что она больше лань, чем чья-то дочь... Теперь я знаю все! Только вот в голове не укладывается, зачем тебе понадобилось говорить ей, что едешь в крепость?.. Зачем ты ей сказал, что едешь продавать картину? Скажи, зачем?!

А он, разжав мои пальцы, отбросив их от себя, качает отекающим лицом. Потом открывает рот, но тут его душит кашель, и лицо становится багровым, а глаза полны слез. Он хрипло говорит:

– Ты ничего не понял. Ее не я убил. Ее убила моя ложь.

– Ты обманул ее? Что ты сказал ей?

А он мотает головой:

– Нет. Не то. Я показал, а не сказал. Я показал ей ложь. Ту картину...

Теперь я жду. Я не могу не ждать. Я жду недолго, но до самого рассвета. И на рассвете он мне растолкует, и скажет: любовь здесь ни при чем; что здесь виной глаза, что он лишь видел, не любя, и скажет, что тогда придумал лань, и создал царство красоты, и даже возгордился, но встретил он ее случайно, все три раза, и во второй – как раз писать закончил, а она к реке спускалась, только он сперва не заметил, услышал лишь, когда за спиной зашуршала галька, а она за хромым валуном пряталась и подсмотреть хотела; и скажет, что тогда он ей и вправду показал и еще ланью назвал, только у него и в мыслях ничего такого не было, она взглянула, покраснела, убежала, – какое-то мгновенье, скажет он; и скажет, что в третий раз – когда он в крепость ехал (да, тут я верно догадался), на Синей тропе повстречались, только теперь он знает, что нарочно стергла, именно так: она его, а не наоборот, и он сказал ей, что в крепость

едет лань показывать, и тут она смутилась пуще прежнего, да так, что щеки запылали, а лоб покрылся пятнами, и все же не ушла, и он услышал ее голос, в первый и последний раз, и голос был нежнее красоты, и он послушался его и развернул, и глядела она уже чуть дольше мгновения, а после спросила, станет ли он продавать, и он ответил: как получится, тогда она кивнула и тихо побрела в аул, вот и все, а он поехал дальше; и скажет, что верил сам в ту ложь, что создана его руками, и желал, чтобы поверили другие, – желал проверить на них веру свою (свою ложь, исправится он, так точнее); и скажет о себе: будь проклят я; и скажет: я должен был писать другое, ну хоть бы дохлых псов, разбросанных по нашей улице, тысячу псов, издохших от скуки и зависти, и должен был писать это так, чтоб видно было, как на ней смердит, написать так, будто они дважды подошли на одной и той же улице; или, скажет, нарисовать на этом утесе осла; или себя самого с бурдюком араки и заходящимся от ужаса сердцем; или миску с дерьмом на пороге; или любой, на выбор, сон свой после пьянки; или стариков, на нихасе играющих в карты; или меня в скобяной лавке, взирающего на «царство красоты», из которого я только что едва выбрался и в которое охотно поверил, позабыв про все уродства его и тоску; или глупую красивую девчонку, ползущую по скалам, чтобы доказать кому-то, что она лань будто бы; и скажет: только кто-нибудь когда-нибудь видел где-нибудь живую лань, вскарабкавшуюся на утес; и скажет: какая глупость, глупее не придумаешь; и скажет: придумаешь: глупее любить мертвую тень от глупой девчонки; и скажет: но уж нет ничего глупее, чем в нее, в эту тень, влюбиться, когда и девчонки той больше нет, влюбиться в глупую красивую лань после смерти ее, после глупой гибели; и скажет: нет, есть: глупее может быть предрассветный рассказ об этой глупости глупцу, готовому поверить глупым пьяным бредням; и скажет: хватит, иди, не то заметят, а этого не хочется ни мне, ни тебе самому, ни кому другому в нашем распрекрасном царстве райской красоты; и скажет: оставьте меня в покое; и скажет: оставьте в покое, только об этом и прошу; и скажет: поспеши, а то неприятностей не оберешься; и скажет: сколько можно мучить человека; и скажет: убирайся, я очень устал, спать хочу; и больше ничего уж не скажет, только отвернется к стенке да с головой шкуркой медвежьей укроется...

И тогда я встану с колен, и тут только пойму, что простоял у его постели на коленях с самого прихода, и выйду за порог, и осторожно перемахну через низенький заборчик, и прокрадусь в дом к своим нарам, и еще успею прилечь, и еще успею заставить себя думать о том, что ночь уже кончилась, и еще успею глядеть на то, как расправляет плечи утро, и еще до того, как застучит кадушками жизнь на женской половине, успею сочинить картину: лань и олень на утесе, стоят на утесе рядом лань и олень, стоят так высоко, что любому видно: к ним не подобраться, и даже пулей не достать. Вот только так и не успею придумать сюда время: зима должна быть или осень, закат или рассвет?.. Зато успею запомнить ее, эту картину, на всю свою жизнь да еще тебе пересказать...

Так говорил отец.

И так я запомнил: олень и лань высоко на утесе, недостижимые ни для пуль, ни для времени...

Запомнил то, чего даже не было, чего даже и быть не могло, что родилось вместо дремы в растроганном воображении отца за девять лет до моего рождения и не поблекло до сей поры, словно позабыв о его, отца, смерти, позабыв обо всех смертях, кроме той, что убила девчонку, обманув ее проданной ланью, и примирила мукой любовь с одиночеством, позволив им жить на нашей земле две дюжины лет и страдать в горем подточенных стенах. И, стало быть, картина – кусок холста размером в две добрые заплаты на дрянной одежонке – вместить в себя сумела не только то, чего не было и быть не могло, не только то, что разрешило чужаку нацепить наши горы на низкую стену в чертовой лавке, не только обреченность влюбившейся в обман девчонки, ослепившей гибелью своей собственного отца и ею же заставившей потерять от любви голову того, кто первым из нас увидел на утесе лань, а после, прежде чем продать, показал ее, ожившую на шершавом холсте, той единственной глупышке, почти ребенку, кото-

рой сам же потом и помешал войти в легенду, не совладав с проклятой своей живучестью и надругавшись над неприступностью утеса, покоровив его пьяным упрямством у нас на глазах, – картина вместила в себя еще и видение, перешедшее ко мне по наследству из времени, чей запах я даже не знал, но от которого так и не смог избавиться – от запаха то есть, – словно краски на ней, на картине (той, что даже не помнит холста, но с ланью рядом видит еще и оленя), оказались душистее и прочнее тех, что спустя год, ровно год после смерти девчонки, день в день, сгорели вместе с холстом и подрамником, вместе с утесом и ланью и купленной их красотой в мелкой лавке с низкими стенами, сгорели от ночью вспыхнувшего пожара, который, говорил отец, и пожаром-то назвать нельзя: чуть штукатурка обвалилась да осталось черное пятно под гвоздями, где она прежде висела, черные подпалины по низкой стене, вот и всё, пожалуй, не считая разбитого окна; только, сдается мне, горела она впустую, потому как ложь на ней вот уже год, как правдой сделалась или по крайней мере перестала быть ложью, и вот уже несколько месяцев, как дорисовалась оленем в разыгравшемся воображении отца, выходит, и впрямь картина горела впустую: дело свое она уже сделала, так что пожар тот был лишь обрядом поминовения, и, говорил отец, когда он за два дня до поминок уехал из аула, я сразу догадался, что к ней, к картине, отправился, что хочет снова на нее взглянуть, вроде как дань отдать, а когда еще через четыре дня вернулся, моя догадка подтвердилась, разве что не полностью, ведь о пожаре в лавке я позже узнал. И поджигателя, конечно, не нашли, хотя кто-то из соседей успел во тьме разглядеть его спину, папаху и резвого жеребца, несущегося прочь по мостовой, а после – вон из крепости.

– Такое варварство!.. Ума не приложу, – повторял лавочник пару недель спустя, сокрушенно качая головой и глядя на отца растерянными глазами, – ума не приложу, кому оно могло понадобиться. Такая дикость!

«Или боль, – подумал про себя отец. – Или месть – рукам своим, своему дару и своим ночам. Или сумасбродство ожидания, томившегося целый год в пьяном угаре воспоминаний. Или просто тоска по огню, запоздавшее жертвоприношение, уступка разум одолевшему наваждению...» А вслух сказал:

– Может, и так. Может, и дикость. Да только ведь не всех грамоте учат. Кому-то нужно и хвосты быкам крутить.

А тот перестал качать головой, напустил яду в глаза и спросил:

– Уж не тем ли быкам, которых хотят на револьвер обменять? Что-то мало оно на вас похоже.

– Мало, – согласился отец. – Быки тут ни при чем. Можно и на что другое обменять. Так обменять, что даже и не расстаться.

И стал смотреть на то, как силится лавочник усмехнуться. И наконец тот усмехнулся и сказал:

– Во-о-на как. Оч-чень любопытно.

– Угу, – кивнул отец и подумал про мудрого старика, мечтавшего разбогатеть, и слово в слово припомнил его наказ. – На что другое можно обменять. Ну хоть на мою неграмотность.

А тот сперва нахмурился, а потом долго глядел, и видно было, как постепенно, морщинка за морщинкой, до него доходит (и пусть по буквам я читать не научился, но по лицу его с минуту читал без запинки, говорил отец). А как дошло, он кашлянул и спросил на всякий случай:

– Это как?

– Бери бумагу и пиши. Пиши что хочешь, а после я крестик внизу поставлю.

– И какая мне с того креста польза?

– Сам знаешь, – сказал отец. – Что угодно пиши, я тебе доверяю.

И они опять помолчали, и поначалу взгляд лавочника таким тугим сделался, будто ему обидой зрачки стиснули, а потом обида медленно стала растворяться в хитрости, а как совсем растворилась, взгляд сделался влажным и мягким, словно древесная труха, и он сказал:

– Ладно. Будь по-твоему, – открыл ящик в столе и достал лист бумаги. Писал он быстро и вроде даже радостно, и на душе у отца чуток похолодело, но крестик он все ж таки поставил, добросовестно исполняя дедов наказ и старательно выводя пером обе палочки. Лавочник взял двумя пальцами справленную бумагу, вскинул перед собой, весело хохотнул и сказал, разорвав ее надвое: — Сейчас новую напишем. Настоящую.

И отец, сглотнув слюну, спросил:

– А эта что ж, ненастоящая была?

– Конечно, – ответил тот. – В этой ты признал, что должен мне сто рублей и вернешь к завтраму.

– Выходит, шутка, – сказал отец и отер пот со лба.

– Заодно и проверка, – кивнул тот и принялся строчить по чистому листу. А отец переминался с ноги на ногу, все больше робел и знай себе отирал лоб рукавом, и на сей раз, прежде чем подписать, решил до правды доискаться и, когда тот протянул перо, замотал головой:

– Прочти сперва.

А лавочник удивился бровями, подумал немного и довольно осклабился:

– Да ведь я могу не то прочитать, что написано. Как поймешь?

– Ладно, – сказал отец и повторил: – Ладно. Доверяю тебе.

– Такая твоя доля. Или доверять, или грамоте идти учиться. Ставь крест, – и ноготь приложил.

– Только и тебе нет резону обманывать, – сказал отец. – У меня брат есть. И ружье теперь ему достанется.

– Ясное дело, – сказал тот. – Сходи кликни помощника...

Так они и столковались, и старик оказался прав: отцу не пришлось лезть за пазуху за тем последним, что оставалось у них про запас как сокровенная надежда и однажды уж, давным-давно, сумело не обменяться, хоть весило почти полпуда и потребовало себе на выделку все фамильное серебро, а после – еще и фамильное унижение, тщетно пытавшееся получить взамен себя и кинжала дагестанской работы лишний клочок чужой земли, что превратила их в батраков и обогатила ровно настолько, чтобы смогли они сполна осознать, ощутить, прочувствовать глубину собственной нищеты, взывавшей беспокойством алчности (или стыда, или отчаяния, а может быть, и веры – в то чудо, что творилось у них на глазах одиноким мальчишкой и что рассчитывали они подчинить лукавой дедовой мудрости). Да, старик оказался прав, и теперь уже оставалось только загрузить товаром повозку и начать торговать, получая со всякого рубля по гривеннику, а с каждого гривенника – по копейке, и оставалось избавиться от серебряного кинжала, вложив его в качестве единственного пока наличного капитала (слово это для них еще не прозвучало, тогда еще для них такого слова не было, дед же мой и вовсе не успел его услышать, хотя вполне успел постичь его значение) в загадочное дело Барысби, старшего из сынов умершего в июне Ханджери. И, думаю, ожидая повозки, о загадке этой размышлял наш старик ничуть не меньше, чем о собственных планах или собственном возрасте. А значит, размышлял он и о том, что дело, затеянное Барысби, не могло быть затеяно при живом Ханджери, но было так заманчиво и спешно, что выжидало лишь положенные сорок дней до поминальной субботы, следующей после траурной годовщины в доме Сослана. И размышлял о том, что Барысби, по сути, кинул им, аульчанам, ту же приманку, что и сам дед, только вот что за ней стояло, наш старик не знал, как не знал и никто другой из тех, кто уже на нее, на приманку, клюнул, продав Барысби чуть ли не все семейные ценности и чуть не все семейные деньги. Это-то и не давало старику покоя, и даже для него, придумавшего, как с выгодой обменять отцовскую неграмотность и притом совсем ее не утратить, было слиш-

ком мудреным то, как можно купить чужие деньги, не заплатив за них ничего, кроме обещания вернуть через год ровно на полтинник с каждого целкового больше, чем было куплено на слова. А потому гадал он над тем, что же такого можно купить на аульные деньги, а после продать его так, чтобы заработать на нем в полтора раза больше для других и еще кое-что для себя, и чтобы это «кое-что» было настолько весомо и звонко, насколько бывает только золото. Много золота. И, конечно, ни одна догадка не приходилась впору тайне сей, и беспокойство дедово не убывало, оно даже росло, но вместе с ним, неутолимое, росло желание подстраховаться, разделить сладкую приманку с остальными и распрощаться наконец с позорившим память кинжалом, кинув его в общую копилку (широкий чугунный жбан в доме Барысби) и отрекшись от него, этого серебряного свидетеля и участника дедовых поражений, на целый год вперед. И, занятый такими мыслями, старик наш постепенно уставал, погружаясь на жарком дворе в тягучую мутную дрему, а после вздрагивал внезапно и открывал припухшие глаза: но почему сейчас? Почему не Ханджери, а сын его? И почему так скоро и поспешно? В чем тут обман?.. А может статься, вовсе и не скоро? Может статься, оно давно в голове Барысби обитало, только вот Ханджери задумки той не принимал (или не мог принять, тут уж все одно. Разница в том лишь, делился сын с отцом или нет, опасаясь стариковского гнева)? Но в любом случае – поздно ли, скоро – чересчур уж поспешно, словно Барысби боялся, что опередят. Да ведь и опережать было в общем-то некому, кроме самого моего деда, дремлющего на молодом, силой налившемся солнце, и спившегося юноши, что сторожил свою боль в зябких задымленных стенах. Только первому на то не хватило сметливости, а второй ради денег лишний раз и плевать бы не стал. Выходит, если и было кого Барысби бояться, так только самого себя, хочу сказать – задумки своей: тут уж чья возьмет – или в поддавки с ней играть, чтобы соблазну довериться, или задумку ту под шапкой схоронить, чтобы потом всю жизнь щипало кончик языка терпкостью давнишнего соблазна и ты корил себя за трусость, нерешительность да шепетильность. И, конечно, между делом и тоской по нему Барысби выбрал дело, поступок, как оно и подобало отпрыску рода, чьи мужчины всегда встречали смерть в седле, на колесах или под крупом лошади, случись то на войне, в походе, поездке в крепость и – коли уж не подвернется вовремя ничего получше да попрстойнее – просто на измышленной заранее прогулке по горной дороге, словно сама смерть или ее предчувствие уводили, а то и гнали их подальше от семейного очага и теплой постели. И Ханджери, обычно не любивший ни верховой езды, ни путешествий, за девять дней до кончины своей впервые за долгие годы тусклой и робкой старости облачился в белый башлык и белую бурку с заштопанной черными нитками точкой пониже левой лопатки и сам вскарабкался на алым бархатом затянутый хребет кобылы, и двинулся вниз вдоль реки, и запретил сопровождать себя своим домашним, а к закату вернулся, и на задетом солнцем лице его было столько досады и скорби, что не нашлось в ауле мужчины, который не принял бы их за жгучую зависть – к тому, от кого Ханджери достались и этот башлык, и бурка, и черный знак на ней. А на другой день, когда он снова вернулся к вечеру, зависть смешалась с бешенством и окрасила скулы его в землистый цвет, а после три дня он даже на пороге не появлялся, но нет, не сломился, как кое-кто из наших уже было решил, однако и в следующий раз он, Ханджери, обознался и, вернувшись с очередной, жестоко истомившей, но так и не убившей его прогулки, походил на белую тень на красном закате, а в проясненных глазах его молилось смирение.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.